

12+
СЕРГЕЙ КИРНИЦКИЙ

Хромота Иакова

ОДИН СЮЖЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ



Сергей Кирницкий

**Хромота Иакова. Один
сюжет за три тысячи лет**

«Издательские решения»

Кирницкий С.

Хромота Иакова. Один сюжет за три тысячи лет /
С. Кирницкий — «Издательские решения»,

Человек готов умереть. Смерть не наступает. После этого у него есть нечто, чего не было, — и повреждение, которое не заживает. Эта форма повторяется в традициях, никогда не знавших друг о друге: Иаков у брода Иавок, Ифигения в Авлиде, Начикета у порога Смерти, Один на ясене. Книга разбирает её устройство: что в ней обязательно, чем платит носитель и почему возвращение не срабатывает. Во всех версиях руку останавливает другой, дар служит не тому, кто его получил, и прежним не возвращается никто.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ · ПОРОГ	6
Глава 1. Узел	6
1.1 · Два условия	6
1.2 · Два спутника	8
1.3 · Эталонные случаи	10
1.4 · Отличие от спасения	12
1.5 · Пограничные случаи	14
1.6 · Почему форма устойчива	16
Глава 2. Согласие	19
2.1 · Что значит быть готовым	19
2.2 · Рука в огне	21
2.3 · Непроверяемость	23
2.4 · Согласие сообщённое	25
2.5 · Не поступок	27
2.6 · Немота вернувшихся	29
Глава 3. Остановка	32
3.1 · Наблюдение по корпусу	32
3.2 · Механика подмены	34
3.3 · Когда замещать некем	36
3.4 · Тот, кого нельзя пожертвовать	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Хромота Иакова

Один сюжет за три тысячи лет

Сергей Кирницкий

Иллюстрация на обложке С использованием ChatGPT

© Сергей Кирницкий, 2026

ISBN 978-5-0071-4096-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ · ПОРОГ

Глава 1. Узел

1.1 · Два условия

Нож занесён, и рука с ножом остановлена со стороны. Мальчик лежит связанный, дрова уложены, место названо заранее; всё приготовлено, и ничего не происходит. Овен, запутавшийся рогами в кустах, достанется жертвеннику вместо того, кто на нём лежит, и с горы сойдут двое. Эта сцена повторяется в традициях, ничего не знавших друг о друге, и прежде всякого вопроса о том, почему она повторяется, требуется сказать, что именно в ней повторяется.

Узел налицо при сообщённой готовности умереть и внешней остановке. Больше в определение не входит ничего.

Первое условие говорит о согласившемся: он согласился умереть, и согласие в рассказе сообщено — произнесено, показано поступком, засвидетельствовано рассказчиком. Книга говорит о рассказанном, и чем это оборачивается, разбирает вторая глава. Второе условие говорит о том, что смерть не наступает, и не наступает она не оттого, что согласившийся передумал: руку перехватывают, костёр не разгорается, нож отводят, приговор отменяют. Остановка приходит со стороны. Кто именно её производит, определение не спрашивает — оно спрашивает только, чья она.

Форм у остановки в корпусе немного, и все они предъявляются как действие, а не как удача. Руку с ножом перехватывают. Подводят замену, и замена принимается: овен вместо сына, лань вместо девушки. Костёр, обложенный сухим хворостом, заливает внезапный дождь. Тот, к кому пришли умирать, отказывается брать пришедшего и отпускает его назад. Общее в этих формах не способ, а направление: остановку производит не тот, кто на неё согласился. Согласившийся к этому моменту уже сделал всё, что мог сделать, и остаётся лежать на дровах или стоять у воды, пока с ним поступают.

Определение звучит скуднее, чем ожидается от предмета, и скудость эта намеренная: инструменту не нужно объяснять, отчего форма держится три тысячи лет, и о предмете он сообщает только границы. Устроено оно как сито с двумя ячейками: сквозь него проходит всё, что кажется существенным, — величие согласившегося, значительность полученного, красота обряда, имя вмешавшегося, — и задерживается ровно два. Сито проверяется не тем, много ли оно пропускает, а тем, меняется ли предмет при удалении любой из ячеек.

Убрать готовность нетрудно: пусть тот, кого вытаскивают, ни на что не соглашался. Остаётся тонущий, которого вынесли на берег. Опасность та же, вмешательство то же, исход тот же, и всё-таки предмет другой: тонущий боролся до последнего вздоха и не отдавал ничего, а вытащившего его встречает благодарностью, и на этом рассказ кончается. Он ничего не тянет за собой. За согласившимся тянется. Разбор различия — работа 1.4, и здесь довольно того, что проверка прошла: первое условие поставлено не для полноты определения, при его изъятии меняется весь предмет, а не оттенок.

Вторая проверка идёт так же. Убрать внешнюю остановку — и открываются два исхода, ни один из которых узлом не оказывается. Первый: никакой смерти не готовилось, и согласие висит в пустоте, не встречая ничего, на что оно было бы ответом; события нет, объяснять нечего. Второй исход тяжелее и встречается чаще: согласие есть, смерть готовилась и смерть наступила.

Макария выходит из храма, называет себя добровольной жертвой и умирает; город получает победу, дочь Геракла получает могилу и почитание. Рассказ полон, обряд соблюден, и узла в нём нет. Кодр устроен так же и подтверждает то же. Оракул обещал врагу победу, если царь останется жив; царь переоделся дровосеком, вышел за стену, затеял ссору у ворот и был убит. Согласие сообщено дважды — решением и переодеванием, — смерть доведена до конца, город спасён. Рассказывать после этого остаётся о городе, не о царе.

Доведённая до конца смерть закрывает рассказ; узел открывается там, где рассказ обязан продолжаться, потому что тот, о ком он ведётся, не умер.

Есть, впрочем, и третий исход, из-за которого второе условие нельзя считать простым. В части версий остановка наступает, не будучи ничьим поступком: смерть просто не приходит в назначенный час, и назвать того, кто её задержал, рассказ не берётся. Определение говорит о стороне, а не о лице: остановка внешняя по отношению к согласившемуся, и этим сказано всё, на что книга имеет право на входе. Разбирается этот исход в третьей главе.

Сочетаний всего четыре, и три из них узла не дают. Нет ни согласия, ни остановки — обыкновенная смерть, о которой эта книга ничего не говорит. Согласие есть, остановки нет — Макария и Кодр, жертва принята, рассказ закрыт. Остановки хватает, согласия нет — тонущий на берегу, благодарность, конец. Остаётся четвёртое сочетание, и только оно тянет за собой продолжение.

Ни одно из двух условий не выводится из другого, и сходятся они не по необходимости, а в определённом классе рассказов; вопрос книги в том и состоит, почему этот класс существует и почему он повторяется у несвязанных народов.

Вместе два условия дают наименьшее определение, ещё удерживающее предмет: убраться нечего, потому что при изъятии любого из них предмет распадается, и добавлять пока нечего, потому что всё остальное о предмете ещё не установлено. В этом виде определение и остаётся до конца книги, и всякий раз, когда дальше говорится о корпусе, речь идёт о версиях, прошедших сквозь эти две ячейки и никакие другие. Узел налицо при сообщённой готовности умереть и внешней остановке; больше в определение не входит ничего.

Первое, чего от определения ждут, — чтобы оно было богаче. Такие рассказы не кончаются на остановленном ноже: у сошедшего с горы потом оказывается нечто, чего не было, и прежним его положение уже не становится. Оба наблюдения верны, и оба в определение не входят.

Сито режет и в обратную сторону, и это стоит проверить на материале. Мидас получает золотое касание, ничего не отдав и не согласившись умереть: дар выпрошен у бога в награду за гостеприимство, оказанное его воспитателю, и выдан по просьбе. Приобретение налицо, и оно велико; необратимость тоже налицо, пока её не отменяют по второй просьбе. Готовности умереть нет, остановки нет, узла нет. Версия остаётся снаружи, хотя всё, что принято связывать с даром, в ней есть, — и это второй способ убедиться, что работают именно два условия, а не привычное представление о даре.

Причина не в осторожности, а в том, что случилось бы с книгой при обратном решении. Сито с ячейкой, вырезанной по форме дара, пропустит одарённых. Дальше можно было бы предъявить перебор версий и сказать: во всех прошедших есть приобретение. Сказано это было бы о сите. Утверждение о том, что узел даёт нечто, перестало бы быть утверждением и стало бы отчётом о способе отбора; то же вышло бы с необратимостью. Приобретение и необратимость — наблюдаемые спутники, а не условия входа. То, что они сопровождают узел почти всегда, книга берётся установить, и установить это можно единственным способом: не пуская их в определение.

Следствие у такого решения практическое и неудобное. В корпус входят версии, где готовность сообщена, остановка произведена, а выдано не было ничего. Исаак сходит с горы и не получает ни имени, ни знания, ни способности: обещание дано над его головой отцу, а

сам он молчит и в дальнейшем рассказе почти не действует. Готовность налицо, остановка налицо, дара нет. Версия остаётся в корпусе, и вычёркивать её нельзя: класс, в котором ничего не выдано, есть рабочий материал пятой и одиннадцатой глав, а не брак выборки.

Ценность у этого класса та же, что у пустого противовеса. Пока в корпусе есть версии, где после остановки не выдано ничего, утверждение о приобретении остаётся утверждением: оно может не подтвердиться, и видно, на чём именно оно не подтвердится. Стоит вычеркнуть бедные версии — и проверять станет нечем. Молчание Исаака на обратном пути с горы держит здесь больше веса, чем любое из громких приобретений, о которых пойдёт речь в пятой главе.

Инструмент, следовательно, получается неудобным в обе стороны сразу: он впускает бедные версии, где после остановки не выдано ничего, и не впускает богатые, где выдано многое без всякого порога. Неудобство это и есть признак того, что мерка независима от вывода, ради которого её взяли.

1.2 · Два спутника

Иаков переходит брод один, ночью, отправив вперёд стада, жён и детей. К утру у него другое имя. Он идёт навстречу брату, с которым двадцать лет назад разошёлся насмерть, и расходится с ним мирно — и всё же не возвращается ни к брату, ни в ту жизнь, из которой когда-то бежал. Он селится отдельно, и дальше рассказ ведётся уже о другом человеке с другим именем.

Так это выглядит при первом же переборе корпуса. У прошедшего порог почти всегда оказывается нечто, чего до порога не было. Один висит на ясене девять ночей, пронзённый и отданный, и, глядя вниз, поднимает руны, которых прежде не знал. У девушки, подменённой на жертвеннике, появляется служение в чужой земле и власть над чужим святилищем. У мальчика, вернувшегося от Смерти, — знание о том, что бывает после смерти, добытое у единственной, кто мог его выдать.

Разное сюда попадает до крайности. В одних версиях выданное можно взять в руки: нож, отложенный в сторону, стадо, отданное в приданое, святилище с ключами, посох. В других не выдано ничего вещественного — прибавилась способность, которой прежде не было: понимать язык птиц, находить воду, говорить о том, что ещё не случилось. В третьих прибавилось только положение среди людей, и человек с виду тот же самый, а обращаются с ним иначе. Будь выданное всюду одним и тем же, совпадение объяснялось бы легко. Оно всюду разное, и совпадает только место, которое оно занимает в рассказе: сразу после несостоявшейся смерти.

Второе наблюдение идёт рядом с первым и так же не требует розысков. Прежнее положение почти нигде не восстанавливается. Подменённая на жертвеннике домой не едет. Переименованный у брода приходит к отцу, и следующее, что рассказано об отце, — его смерть и погребение. Вернувшийся от Смерти первым даром просит, чтобы отец, который его отдал, встретил его без гнева: примирение приходится выпрашивать у Смерти, само оно не наступает. Порог оказывается местом, откуда есть ход вперёд и нет хода назад, и это сказано о рассказах, а не о людях: рассказчики устроили свои версии так, что возвращения в них не предусмотрено.

Что было с человеком у брода, предъявить невозможно; что рассказано о человеке у брода, предъявляется полностью и проверяется по строкам. Поэтому и оба наблюдения записываются в одной форме: не «почти во всех случаях прошедший порог получает нечто», а «почти во всех версиях прошедшему порогу выдано нечто». Первая формулировка сообщает о людях, которых никто не считал и не видел; вторая — о традиции рассказывания, которую можно перебрать до конца и в которой можно ошибиться так, что ошибку заметят. Книга берётся только за вторую, и берётся с первой страницы, потому что позже переучиваться будет поздно.

Внутри разбора отдельной версии слова «человек», «носитель», «случай» остаются на своих местах: Иаков у брода один и телесен, и говорить о нём во множественном числе нелепо. В обобщающей же формулировке стоят только версия, традиция, корпус и рассказ.

Есть и третье наблюдение, помельче: выданное почти нигде не совпадает с тем, о чём просили. У брода просят благословения и получают имя. У ясеня отдают себя, ни о чём не прося, и получают руны, а вслед за рунами песни и мудрость. Мальчик просит объяснить одну вещь и получает её вместе с тем, чего не просил.

Все три наблюдения бросаются в глаза раньше всякого разбора, и именно поэтому с ними следует обращаться осторожнее, чем с добытым трудом.

Первое, что просится, — вписать в определение приобретение и необратимость. Определение при этом стало бы полным: согласился умереть, остановлен, получил, не вернулся. Первым за эту полноту заплатил бы Исаак.

Пусть приобретение внесено в определение четвёртым словом. Тогда отбор версий ведётся так: берётся рассказ, проверяется согласие, проверяется остановка, проверяется выданное; если выданного нет, рассказ в корпус не входит. Исаак, сошедший с горы ни с чем, отсеивается на третьей проверке. Отсеиваются вместе с ним все бедные версии, сколько бы их ни было. Затем корпус перебирается заново, и выясняется, что во всех вошедших версиях прошедший порог что-нибудь получил. Утверждение выглядит как результат. Результатом оно не стало ни в малейшей степени: пришло оно не из материала, а из третьей проверки.

Потерю при этом несёт не одна фраза, а вся дальнейшая работа. Пятой главе, чтобы разбирать выданное, нужны версии, где не выдано ничего: без них не с чем сравнить и нечем мерить. Одиннадцатой, чтобы оценить качество корпуса, нужны версии бедные и невнятные: по ним видно, что сохранялось охотно, а что сохранялось с трудом. Вписав приобретение во вход, книга лишилась бы обеих опор в один приём и не заметила бы убытка — отсеянное не оставляет следа, о нём просто нечего сказать.

С необратимостью выходит то же самое и по той же причине. Стоит потребовать на входе, чтобы прежнее положение не восстанавливалось, — и версии, где вернувшийся возвращается к прежнему, отсеются заранее; после чего книга объявит необратимость свойством узла. Порочность хода не в ошибке рассуждения, а в том, что рассуждения тут нет вовсе: заключение положено во вход руками того, кто потом его извлёк. Проверить, есть ли в узле необратимость, можно единственным способом — не пускать её в определение и смотреть, сколько версий окажется в корпусе без неё.

Условие от спутника отделяет тот же приём, каким проверялись сами условия, — изъятие, и результат он даёт противоположный. Убрать у Исаака выданное нетрудно, потому что убирать нечего: с горы он сходит ни с чем, и рассказ всё равно остаётся рассказом о занесённом ноже и перехваченной руке. Предмет не изменился. Убрать у него согласие — и остаётся связанный мальчик, с которым поступают, не спрашивая; предмет изменился целиком. Разница между условием и спутником в этом и состоит.

Спутник, идущий рядом достаточно долго, начинает выглядеть частью тела. На взгляд одно от другого не отличить, и длительность совпадения тут ничего не устанавливает: сколько бы шагов они ни прошли рядом, один из них может отстать на следующем. Различить их можно, только разведя: рука проверяется тем, что остаётся при человеке, спутник — тем, продолжает ли он идти, когда его не держат.

Отсюда рабочее различие, которым книга пользуется до конца. Условие определяет вход: по нему решается, входит ли версия в корпус, и версия без условия не рассматривается вовсе. Спутник наблюдается на вошедших: он не решает ничего и сам подлежит подсчёту. Условий два, и они названы. Спутников на входе в книгу тоже два, и оба вынесены за пределы определения намеренно; за ними сохранено полное право вернуться — но вернуться установленными, а не принятыми.

Ни одно из наблюдений при этом не отменяется и не ослабляется. Отказ включить приобретение в определение не есть сомнение в том, что приобретение встречается почти всюду; это отказ считать его встречаемость доказанной прежде подсчёта. Оба наблюдения переводятся в гипотезы, и обе сформулированы так, чтобы их можно было опровергнуть. Первая: узел почти всегда сопровождается приобретением, и там, где приобретение отсутствует, отсутствие поддается объяснению. Вторая: узел почти всегда сопровождается невозвращением к прежнему положению, и класс версий, где возвращение состоялось, мал и особым образом устроен. Гипотеза, сформулированная так, проверяется перебором и падает от перебора; утверждение, вписанное в определение, не падает ни от чего.

Вынесенное из определения не выброшено. У каждой гипотезы свой адрес. Приобретение проверяется в пятой главе: что именно выдано, кому, всегда ли и в каком отношении выданное стоит к отданному. Необратимость проверяется в десятой: почему в корпусе нет удавшегося возвращения и что стоит на месте, где оно должно было бы быть. Обе проверки ведутся сплошным перебором, с указанием числа версий за и против, и обе могут кончиться не в пользу гипотезы.

Оценка правдоподобия до подсчёта — та же круговая ошибка, только выраженная мягче: она не отбирает материал, но заранее сообщает, какого результата ждут, и всякая версия, идущая поперёк ожидания, начинает выглядеть исключением ещё до того, как её прочли. Гипотеза записана, адрес указан, срок назначен.

Приобретение и необратимость — наблюдаемые спутники, а не условия входа. Пока они идут рядом, о них говорится только это.

1.3 · Эталонные случаи

Дрова для всесожжения несёт на гору тот, кого на них положат. Деталь эта стоит в тексте раньше всякого объяснения и работает раньше него же: идущий вверх собственными руками готовит собственную смерть. Он спрашивает по дороге, где же агнец, и получает ответ, что агнца усмотрит Бог, — и больше не спрашивает. Дальше он даёт себя связать. Ни борьбы, ни бегства, ни слова против в рассказе нет, а в позднейших пересказах той же традиции согласие произнесено прямо: сын сам просит связать его покрепче, чтобы не дрогнуть. Готовность в этой версии сообщена дважды — молчанием, которое ничем не нарушено, и словом, которое сказано.

Остановка приходит извне и приходит поздно: нож уже занесён, рука уже пошла вниз. Перехватывает не сын и не отец — окликают со стороны, и рука останавливается на середине движения. Затем принимается замена: овен, запутавшийся рогами в чаще, идёт на жертвенник вместо того, кто на нём лежал. Из всего рассказа в разборе участвуют три вещи: дрова на плечах идущего, окрик, остановивший руку, и овен, принятый вместо. Остальное — имена, обещания, число дней пути — можно заменить, и структура выдержит.

Проверить это просто. Пусть путь длится не три дня, а один, пусть гора зовётся иначе, пусть вместо овна в чаще окажется козёл: разбор пройдёт слово в слово тот же. Пусть теперь сын вырвется и убежит, а отец опустит нож сам — и разбирать станет нечего, потому что не станет ни сообщённой готовности, ни внешней остановки. Деталь, которую можно заменить любой другой из того же рассказа, в разборе не участвует, сколько бы места она ни занимала в самом рассказе.

Замена, принятая на жертвеннике, в определение не входит; в корпусе она встречается часто, и устройство её — работа третьей главы. Обряд при этом доведён до конца, и доведён он не на том, кто на него шёл.

Вторая версия отделена от первой всем, чем две традиции могут быть отделены друг от друга. Флот стоит в Авлиде, ветра нет, войско начинает роптать, и прорицатель называет цену

попутного ветра. Девушку вызывают из дома письмом о свадьбе. Согласие здесь сообщено не молчанием, а речью: узнав, ради чего её привезли, она отказывается от заступничества и говорит, что отдаёт своё тело за войско сама. Говорит она это после того, как просила пощады, и потому согласие здесь сказано, а не предположено. Нож заносится над алтарём в Авлиде так же, как над жертвенником на горе.

Версий этого события в самой греческой традиции не одна, и различаются они ровно в том месте, которое книге и нужно. В одних пересказах девушку убивают, и никакой лани нет: жертва принята, ветер получен, рассказ закрыт — и это не узел, а доведённая до конца смерть, такая же, как у Макарии. Узел даёт только та версия, где подмена состоялась, и она не моложе первой: лань на алтаре известна уже самым ранним пересказам. Обе версии остаются в традиции рядом, и выбирать между ними по достоверности книга не берётся: она берёт ту, в которой есть её предмет, и оговаривает, что берёт одну из двух.

Письмо о свадьбе — деталь, без которой согласие в этой версии нельзя было бы предъявить вовсе. Девушку привозят обманом, она приезжает наряженной к жениху и узнаёт об алтаре уже в лагере, из чужих уст. Согласие, сказанное после этого, сказано зрячим: она знает, что её обманули, знает, кто и ради чего, и знает, что заступничество ей предлагают и что оно возможно. Отказ от заступничества и есть тот поступок, которым готовность сообщена; будь она согласна с самого начала, по неведению, согласие это ничего бы не сообщало.

Остановка и здесь приходит со стороны, и здесь она устроена как замена: на алтаре в последний миг оказывается лань, а девушки на нём нет. Войско видит кровь и получает ветер. Дальше начинается то, чего в первой версии не было: подменённая не умирает и домой не едет. Её переносят в чужую землю, к чужому святилищу, и там она много лет служит жрицей при обряде, который сама исполняет над чужеземцами. Положение изменилось необратимо, и изменение это не наказание и не награда — просто прежнего места у неё больше нет. Отец, отдавший её, дома не дожждётся; брат, который приедет в ту землю не за ней, а за статуей богини, узнает её по письму, написанному в Аргос, и увезёт не в Аргос, а к другому святилищу.

Третья версия дальше от двух первых, чем те друг от друга. Мальчик отдан отцом в раздражении: жертвуя старых, негодных коров, отец бросает, что отдаёт и сына — Смерти. Мальчик принимает сказанное всерьёз и идёт. У дверей Смерти он никого не застает: хозяйки нет дома. Он садится у порога и ждёт три ночи, не принимая ни воды, ни пищи, и не уходит. Ждёт он не спасения; он отдан и пришёл получить своё.

Готовность здесь не умещается в один удар ножа: она растянута на трое суток и всё это время держится ожиданием у порога, за который его не впустили. Остановку производит та, к кому он пришёл. Вернувшись, Смерть не берёт его и расплачивается сама — за три ночи, проведённые гостем без угощения, она предлагает три дара, и последним выдаёт то, чего выдавать не хотела и от чего трижды отговаривала. Выданное превосходит запрошенное: мальчик спрашивал об одном, а получил знание, за которое Смерть предлагала ему взамен сыновей, стада, долголетие и власть над землёй. Из всего рассказа в разборе участвуют три ночи и порог.

Убрать эти три ночи — и остаётся мальчик, пришедший с вопросом и получивший ответ, каких в той же традиции сотни: беседа ученика с учителем, обмен вопросами, награда за настойчивость. Порога нет, отданности нет. Три ночи у закрытых дверей делают ожидание не приёмом рассказчика, а самой готовностью: она предъявлена длительностью, потому что предъявить её ударом здесь нечем — никто не заносит над мальчиком ножа и никто не собирается его убивать. Тем и ценна третья версия: она показывает, что первое условие не привязано к орудию.

Три чертежа принадлежат постройкам, не похожим одна на другую. Вмешивающиеся не совпадают ни в чём: голос, окликающий с неба, богиня, уносящая жертву с алтаря, и сама Смерть, отпускающая пришедшего к ней. Содержание выданного не совпадает тоже: жизнь сына и обещанное отцу потомство, служение при чужом святилище, знание о посмертной уча-

сти. Не совпадает даже то, чем кончается рассказ, — в одной версии сходят с горы, в другой остаются на чужом берегу, в третьей возвращаются домой со знанием.

Расходятся и обстоятельства, при которых эти рассказы сложились. Между ними лежат тысячи вёрст, разные языки, разные способы хоронить и разные представления о том, что бывает с человеком после смерти. Ни одна из трёх традиций не пересказывает двух других и не ссылается на них; общего текста, к которому все три восходили бы, не предъявлено.

Совпадает несущий каркас, и совпадает он с точностью до порядка. Сначала сообщена готовность умереть — молчанием, речью, тремя ночами ожидания. Затем смерть останавливают со стороны, и остановка никогда не оказывается решением того, кто на пороге: ни сын на дровах, ни девушка на алтаре, ни мальчик у дверей не отменяют ничего. Затем положение прошедшего меняется, и меняется не к тому, чем было. Три шага, один порядок, три традиции, между которыми не предъявлено ни заимствования, ни общего источника, ни общего языка.

Порядок здесь такая же часть каркаса, как и сами шаги. Ни в одной из трёх версий выданное не приходит раньше остановки, и ни в одной остановка не предшествует согласию. Мальчику не предлагают даров, пока он идёт к дверям, и не предлагают их, пока он сидит у порога, — предлагают после того, как отпустили. Девушка не получает святилища, пока стоит у алтаря. Отцу не обещают потомства, пока сын лежит связанный. Если переставить шаги местами, рассказ распадается на другие рассказы, которых в корпусе сколько угодно: на просьбу, вознаграждённую по заслугам, на выкуп, на сделку у алтаря.

Совпадение при таком расхождении всего остального и требует объяснения. Каркас — не сюжет и не смысл. Три постройки служат разному: одна рассказывает о завете и потомстве, вторая о войне и о доме, где вернувшегося с этой войны убьют, третья о том, что бывает с человеком после смерти. Назначения не совпадают ни в одной точке, и пересказать одну версию словами другой невозможно. Совпадают опоры, и только они.

1.4 · Отличие от спасения

Девушка, отданная за общину, стоит у воды и ждёт смерти, а смерть отменяется вмешательством со стороны. Так устроены обе версии, и различить их по этому описанию нельзя. В одной девушку приковывают к скале у моря, потому что оракул назвал её ценой за избавление города от чудовища. В другой девушку привозят к войску на берег, потому что прорицатель назвал её ценой за попутный ветер. Обе выведены на берег ради общего дела, обеих готовы отдать свои, обе стоят там, где через минуту должны умереть, и обе не умирают, потому что вмешивается тот, кого не ждали.

Опасность здесь сопоставима до мелочей. Прикованная к скале беспомощна совершенно; стоящая у алтаря окружена войском, которое не отпустит. Вмешательство в обоих случаях решительно и приходит извне: в одной версии чудовище убивает прилетевший по воздуху, в другой жертву уносит с алтаря та, кому её посвятили. Исход тождествен: обе остались живы, обе покинули берег. Если бы узел от спасения различало положение на грани смерти, различить эти две версии было бы нечем — грань одна и та же, и стоят на ней одинаково.

Совпадает и обстановка вокруг обеих. В обеих версиях цену называет не тот, кто платит: говорит прорицатель, и слово его принимают как неотменимое. В обеих девушку выводят наряженной, и наряд этот двоится: свадебный он или погребальный, по описанию не отличить. В обеих отец стоит рядом и не мешает, а община получает то, ради чего отдавала.

Та же пара складывается и внутри одной традиции, где различие обстановки не мешает вовсе. Двое сыновей одного отца в разное время оказываются на краю смерти. Одного отправляют в пустыню с мехом воды, вода кончается, мать отходит, чтобы не видеть, как он умрёт, — и голос с неба указывает колодец, которого она не замечала. Другого ведут на гору с дровами

и ножом, и голос с неба останавливает руку. Небо вмешивается дважды, смерть отменяется дважды, оба мальчика живы.

Расходятся версии в одном месте, и место это можно указать пальцем.

Прикованная к скале не соглашалась. Её привели связанной, она ничего не отдавала; в рассказе нет ни слова, которым она приняла бы свою смерть. Стоящая у алтаря отказалась от заступничества вслух, при свидетелях, зная, что заступничество возможно. Мальчик в пустыне умирал от жажды, не участвуя в собственной смерти ничем, кроме плача. Мальчик на горе нёс дрова сам.

Показывает это не определение, а сами тексты, и показывают они это разными способами. За прикованную к скале говорит её отец; сама она в рассказе почти не подаёт голоса, и то, что подаёт, — плач. Привезённая в лагерь говорит сама, и речь её занимает в трагедии столько места, сколько не занимает ни одно событие: сперва мольба о жизни, потом отказ от мольбы. Между этими двумя речами и сообщено согласие; будь в тексте только вторая, его можно было бы счесть покорностью, а будь только первая — обыкновенной жертвой, приведённой силой.

С этой точки рассказы идут врозь, и врозь они идут сразу. Спасённая у скалы выходит замуж за того, кто её спас, и рассказ на этом заканчивается: свадьба, отец, город, избавленный от чудовища. Отданная за ветер не возвращается домой никогда: её переносят на чужой берег, и остаток рассказа ведётся о ней как о другом человеке, стоящем при чужом святилище. Мальчик, которому показали колодец, вырастает в пустыне, становится стрелком и родоначальником народа, но народ этот обещан ещё до изгнания, и спасение к обещанному ничего не прибавляет. Сошедший же с горы молчит, и над его головой даётся обещание, которого он не просил.

Разница видна не в опасности и не в исходе, а в том, что рассказ делает после. Спасение закрывает рассказ, узел его открывает.

Подтверждается это и с другой стороны — тем, как обе версии живут в традиции дальше. О спасённой у скалы вспоминают ради того, кто её спас: она входит в его рассказ и остаётся там женой, матерью его детей, именем в перечне. Отданная за ветер обзаводится собственным продолжением, которого никто не заказывал: её ищут, о ней спорят, её переносят из версии в версию, и в одних она умерла, а в других служит на чужом берегу. Рассказ, однажды оставшийся незакрытым, притягивает продолжения; закрытый не притягивает ничего.

Отсюда критерий. Узел от спасения различает сообщённое согласие, а не близость смерти и не тяжесть положения. Мера опасности здесь не работает вовсе: прикованная к скале была ближе к смерти, чем мальчик, севший ждать у порога Смерти, и всё же первая версия остаётся спасением, а вторая узлом. Не работает и мера вмешательства: чем решительнее вмешались, тем меньше это говорит о том, во что вмешались. Не работает и цена, заплаченная общиной, и величие того, кто вмешался. Работает одно: сказано ли в рассказе, что тот, кто на пороге, свою смерть принял.

Критерий этот скуп, и скупость его та же, что у определения. Он не спрашивает, велика ли отданная жизнь, ради чего её отдавали и стоило ли дело такой цены. Мальчик, отданный отцом в раздражении за негодных коров, проходит по нему так же, как царская дочь, отданная за судьбу похода.

Определение из 1.1 здесь впервые начинает резать. Двух девушек у воды, неразличимых по опасности и по исходу, оно развело по одному поступку — отказу от заступничества: прикованную к скале оставило снаружи, стоящую у алтаря впустило. И здесь же видно, из чего оно сделано.

Критерий целиком стоит на согласии. Согласие не осматривается, не измеряется и не предъявляется: о том, что прикованная к скале не приняла своей смерти, известно только из того, что рассказчик не сообщил обратного, а о том, что стоящая у алтаря приняла, — из того, что рассказчик вложил ей в уста речь. Ни в одном случае никто не заглядывал внутрь.

Молчание Исаака на горе можно прочесть как согласие и можно прочесть как оцепенение; рассказ обоих прочтений не запрещает. Прикованная к скале могла принять свою смерть за те часы, что провела у воды, и, если приняла, ни один текст об этом не скажет.

Слабость эта не мелкая и не техническая. Она сидит в том самом месте, на котором держится весь отбор корпуса: во всех версиях, где узел признан, признан он потому, что согласие сообщено, — а сообщено оно рассказчиком, чьих оснований никто не проверял. Определение, выстроенное так, различает не то, что было с людьми, а то, что о них рассказано. Правильно ли различает — вопрос, на который первая глава ответить не может.

Хуже того, у рассказчика есть причина сообщить согласие там, где его не было. Рассказ, в котором отданного остановили и после этого возвысили, требует, чтобы отданный был достоин остановки: покорность объясняет, отчего вмешались именно здесь, и связывает начало с концом. Согласие, вписанное задним числом, делает версию складной. Отличить вписанное от засвидетельствованного внутри самого текста нечем, и книга этого различения не имеет.

Во вторую главу передаётся не одно затруднение, а нечто более определённое: вопрос, что именно предъявляет рассказ, когда сообщает о согласии, и чем сообщённое согласие отличается от согласия, о котором рассказчик умолчал. Пока ответа нет, все отборы первой главы остаются условными.

Критерий получен, применён и объявлен стоящим на том, чего никто не видел.

1.5 · Пограничные случаи

Лекало прикладывают к трём версиям, и трудность каждой видна раньше, чем лекало к ней поднесено.

Первая: побеждённый царь на костре. Кир взял Сарды, Креза вывели и поставили на сложенные дрова, и костёр подожгли. Трудность здесь в том, что на костёр его привели. Казнь, которой не сопротивляются, и смерть, которую принимают, снаружи выглядят одинаково; сказать по этой сцене, отдал ли Крез свою жизнь или у него её отняли, нельзя. Дело осложняется тем, что версий у сцены две, и расходятся они именно в этом месте: в одной царя возводят на костёр по приказу победителя, в другой он всходит сам, вместе с домом, не дожидаясь чужого приговора. Спасённого победитель потом взял в советники: приобретение в этой версии налицо, и соблазн зачесть его вместо недостающего условия велик именно потому, что оно так хорошо выглядит.

Вторая: беглец на корабле. Буря настигает судно, жребий указывает на виновника, и виновник сам говорит корабельщикам, чтобы его взяли и бросили в море. Трудность здесь обратная: согласие произнесено с такой прямоотой, какой нет ни в одной из эталонных версий, — и произнесено оно тем, кто бежал от порученного и в бурю попал из-за собственного бегства. Готовность умереть выговорена человеком, который до этого только и делал, что уклонялся. Корабельщики бросать его не хотят и сперва гребут к берегу изо всех сил — деталь, без которой согласие можно было бы счесть вынужденным: море требует виновника, но люди на корабле требуют другого.

Третья: разорённый, сидящий на золе. Ни ножа, ни костра, ни воды, ни назначенного часа. Имущество отнято, дети погибли, тело покрыто язвами; он скребёт себя черепком и говорит, что лучше бы ему не родиться. Трудность здесь в том, что показать не на что. Нет ни минуты, о которой можно сказать: вот здесь он согласился; нет ни минуты, о которой можно сказать: вот здесь его остановили. Есть зола, черепок и сорок глав разговора.

К костру, кораблю и золе прикладываются оба условия по очереди, одинаково и коротко. Одинаковость процедуры входит в довод наравне с её итогом: инструмент, к трудным версиям применяемый бережнее, чем к лёгким, ничего не проверяет, а подтверждает выбор того, кто его держит.

Костёр. Сообщена ли готовность умереть — в одной версии нет: царь молчит, потом выкликает имя мудреца, потом объясняет победителю, что тот и сам не знает своей участи. О своей смерти он не говорит ничего и принимать её не берётся, а когда пламя уже не могут потушить, со слезами просит бога спасти его. В другой версии сообщена: он всходит сам. Произведена ли остановка извне — да, и в обеих: пламя гасит ливень, посланный небом. Итог различается по версиям, и различается закономерно: там, где на костёр взошли сами, узел налицо, а там, где возвели, остаётся отменённая казнь, и дальнейшее — приближение к победителю, советничество при чужом царе — приходится объяснять чем-то другим.

Корабль. Сообщена ли готовность — сообщена прямо, вслух, и подкреплена тем, что, указанный жребием, человек не запирался и сам назвал себя причиной бури. Произведена ли остановка извне — да: море не убивает, и остановка растянута на трое суток во чреве, как ожидание у порога Смерти растянуто на три ночи. Ни выбраться, ни ускорить, ни отказаться брошенный за борт не может; его извергают на сушу, когда извергают. Узел налицо, и версия прошла сквозь обе ячейки.

Для беглеца из этого следует и кое-что ещё. Выданного нет. Он не получает ни имени, ни знания, ни способности; он идёт в город, куда его посылали до бегства, и делает то, что было поручено ему до бури. Версия входит в корпус по двум условиям и остаётся в нём бедной — из того самого класса, ради которого определение и держат скудным.

Зола. Сообщена ли готовность умереть — неизвестно. Он зовёт смерть и не делает к ней ни шагу. Он говорит, что душа его желает прекращения, и продолжает сидеть, разговаривать, спорить, требовать суда; он не отказывается от жизни и не принимает её конца — он требует объяснения.

Готовность, если она тут есть, размазана по сорока главам, и указать место, где она сообщена, нельзя: указать можно на десяток мест, и каждое опровергается соседним. Произведена ли остановка извне — сказать тоже нечем. Ножа у Иова нет, костра нет, часа нет; смерть ему не назначена, и отменять нечего. Голос из бури приходит не в момент, а вместо момента: он не останавливает никакой руки, потому что ни одна рука не занесена.

Критерий здесь не работает. Ни одно из двух условий не локализуется в тексте, и приложить лекало не к чему.

Сказать при этом, что узла в этой версии нет, книга тоже не может, и в этом вся неприятность. Отказ инструмента говорит об инструменте, а не о материале: он сообщает, что различие здесь не проводится, и ничего не сообщает о том, чем сидящий на золе отличается от лежащего на дровах. Отрицательный ответ и отсутствие ответа — разные вещи, и смешивать их значило бы приписать книге знание, которого у неё нет.

Соблазн поправить эту версию силён ещё и потому, что по всем прочим приметам она подходит идеально: отнято всё, что можно отнять, возвращено вдвое, и прежним сидевший на золе не стал. Приметы эти — спутники, а не условия, и версия, подошедшая по спутникам и не подошедшая по условиям, есть первая настоящая проверка того, всерьёз ли сказано различие из 1.2. Пропустить её сюда значило бы отменить это различие молча.

Правка напрашивается сама, и напрашивается в двух видах. Можно объявить готовностью всю совокупность речей о желании умереть, а остановкой — ответ из бури, и тогда версия войдёт в корпус: в ней есть и отданное имущество, и возвращённое вдвое, и изменившееся положение. Можно, наоборот, объявить её вовсе посторонней и не упоминать. Оба хода одинаково незаконны. Первый растягивает оба условия до того размера, при котором в корпус войдёт половина всех рассказов о несчастье; второй прячет трудность, купив себе покой ценой того, что инструмент останется непроверенным.

Распределились ответы при этом неровно. Из трёх трудных версий две прошли, и прошли по-разному: одна целиком, другая расколовшись надвое по двум пересказам одного события. Раскол этот не изъязн разбора, а его точность: книга говорит о версиях, а не о людях, и там,

где традиция рассказывает о человеке двояко, двояким выходит и ответ. Царь, взошедший на костёр сам, и царь, возведённый на костёр чужой волей, — не два свидетельства об одном человеке, а две версии, из которых в корпус входит одна.

Отказ записывается отказом, и по нему проходит граница применимости — не там, где хотелось бы. Очертить её можно точнее, чем одним примером. Инструмент требует двух точек в тексте: места, где сообщено согласие, и места, где смерть остановлена. Обе точки должны быть указуемы — на строку, на сцену, на поступок. Версии, в которых умирание длится столько же, сколько сам рассказ, этих точек не дают, и таких версий в корпусе не одна: всякий рассказ о долгом угасании, о медленном разорении, о жизни, прожитой под приговором, устроен так же. Ни одна из них не отвергнута по существу. Все они лежат вне того, о чём книга берётся судить, и лежат там не потому, что в них ничего не происходит, а потому, что мерка, которой книга пользуется, требует мгновения, а в них мгновения нет.

Цена у границы своя, и она не мала: за её пределами остаётся то, что кажется самым близким к предмету книги, — человек, дошедший до конца и не умерший. Способа поправить это у книги нет, и она ничего не поправляет.

Два подтверждения показали, что лекало прикладывается. Отказ показал, где оно кончается. Подтверждения умножаются легко и не сообщают ничего нового после третьего; отказавший случай сообщает о лекале больше, чем весь корпус подошедших.

1.6 · Почему форма устойчива

Дрова на плечах идущего, лань на алтаре и три ночи у чужого порога сошлись в одном порядке, и объяснить это совпадение нужно. Дорог от этого места расходится три, и каждая ведёт куда-то.

Первая: рассказы связаны. Форма сложилась однажды, в одном месте, и разошлась оттуда по свету — с торговцами, пленными, писцами, переводами священных книг, вместе с обрядом или вместо него. Дорога эта не так наивна, как выглядит: пути заимствований между Междуречьем, Ханааном, Эгеидой и Индией существовали, и сюжеты по ним ходили — доказано это на десятках частных случаев, где совпадают не структуры, а самые подробности. Объяснение в лучшем своём виде говорит не о едином источнике, а о сети пересказов, в которой форма перекатывалась из языка в язык, всякий раз одеваясь в местное.

В пользу этой дороги говорит и то, что ходили по ней рассказы куда более приметные. Потоп с ковчегом, найденный в корзине младенец, оскотление старшего бога младшим — всё это встречается у соседей в таком сходстве, что спорить приходится уже не о заимствовании, а о направлении.

Вторая: рассказы не связаны, а связаны рассказчики. Форма повторяется потому, что одинаково устроен тот, кто её сочиняет и слушает: человек смертен, знает об этом, и мысль об отданной и не взятой жизни ложится в него одним и тем же способом независимо от языка. Объяснение это в сильнейшем виде говорит не о душе вообще, а о том, что число способов рассказать о своей смерти конечно и невелико, и потому несвязанные традиции неизбежно набредают на одни и те же немногие ходы.

К тому же с человеком и вправду поступают одинаково в местах, ничего друг о друге не знавших: мальчика уводят из селения, держат в стороне от жилья, мажут золой, объявляют мёртвым для прежней родни и возвращают под новым именем. Обряд посвящения устроен так на разных материках, а рассказ, в котором отданного не взяли и вернули изменённым, есть тот же порядок, пересказанный словами.

Третья: дело не в рассказчиках, а в рассказах. Форма держится потому, что хорошо работает: рассказ, устроенный так, объясняет разом происхождение обряда, законность власти, право жреца стоять у святилища и странность человека, живущего не как все. Он полезен

общине и потому переписывается чаще соседних; он живуч, как живуче удобное орудие, и распространяется не потому, что кто-то его перенёс, а потому, что всякий, кому он попался, находил ему применение.

Начинаются все три дороги ровно, и оценивать их приходится по одному и тому же: что каждая объясняет и что оставляет нетронутым.

Займствование хорошо объясняет совпадение в мелочах — овен в чаше и лань на алтаре похожи не только местом в рассказе, но и тем, что подменённое животное в обоих случаях находится рядом и никем из людей не приведено. Оно же оставляет необъяснённым третий случай: путей, по которым мальчик у порога Смерти мог бы прийти к жертвеннику на горе, не предъявлено, а без предъявленного пути объяснение говорит о возможности, не о происшествии.

Общее устройство человека хорошо объясняет, почему форма встречается там, куда займствование не дотягивается. Оно же не объясняет, отчего форма именно такова, и не объясняет её постоянства в подробностях. Из общего устройства человека следует, что о смерти будут рассказывать; из него не следует, что останавливать занесённую руку будут всегда со стороны и никогда изнутри. Способов рассказать о своей смерти и вправду немного, но ни один из них не требует третьего шага: отданный и не взятый мог бы возвращаться домой прежним, и рассказ на этом кончался бы. Он не кончается ни в одной из разобранных версий, и объяснение из устройства человека к этому шагу равнодушно.

Полезность рассказа хорошо объясняет, отчего такие версии сохранялись и переписывались: у каждой из трёх эталонных есть обряд, святилище или учение, которое она обосновывает. Гора с жертвенником становится местом, на которое потом ссылаются; подменённая девушка оказывается при святилище, чей обычай рассказом и объясняется; беседа у порога Смерти входит в свод, по которому учат. Она же объясняет отбор, а не изобретение. Чтобы рассказ сохранился за полезность, он должен сначала возникнуть, и полезность не говорит, откуда он взялся в таком виде; она говорит только, почему из многих сохранился этот. К тому же полезность объясняет не всё сохранившееся: Исаак сошёл с горы ни с чем, и эта пустота дошла вместе с горой и жертвенником, хотя обосновать её нечего.

Есть у трёх дорог и общая особенность, из-за которой выбор между ними труднее, чем кажется: они не исключают друг друга. Форма могла возникнуть из обряда, разойтись пересказом и удержаться полезностью, и тогда верны все три объяснения сразу, каждое на своём участке. Проверить, так ли это, нечем: наблюдаемое от такой сборки не меняется ни в одной черте.

Ни одна из трёх дорог не заперта, и ни одна не выводит. Материала, по которому можно было бы предпочесть одну, в распоряжении первой главы нет, и недостаёт не усердия, а самой возможности проверить: все три объяснения предсказывают одно и то же наблюдаемое. Выбор между ними на этом шаге был бы вкусовым и выдавал бы не свойство материала, а склонность выбирающего. Устойчивость формы установлена; объяснена она быть не может. Сказано это не о трудности задачи и не о том, что кто-нибудь решит её позже; сказано это о том, чем книга располагает сейчас.

Отказ выбрать есть результат, а не пустое место на месте результата. Он говорит, чем обеспечено дальнейшее: всё, что будет установлено о даре, о цене и о невозвращении, устанавливается независимо от того, какая из трёх дорог окажется верной. Ни одно утверждение книги не опирается на сделанный здесь выбор, потому что выбора здесь нет.

Прежде чем спрашивать, отчего форма повторяется, стоит узнать, каков корпус, в котором она повторяется: что в нём сохранилось, что пропало и по какому признаку отбиралось сохраняемое. Оценка корпуса ведётся в одиннадцатой главе, разбор гипотезы — в двенадцатой, и к развилке книга возвращается там, с тем, что к тому времени будет установлено.

Нож остаётся занесённым. Кто перехватывает руку, глава не спрашивала ни разу: определение говорит о стороне, не о лице, и вопрос о лице стоит впереди нетронутым.

Инструмент готов. Он беден намеренно, он режет, он даёт отказ, едва его поднесли к трудным версиям, и границу свою показывает сам. Два спутника, приобретение и необратимость, ждут проверки. Центральное же его условие остаётся непредъявленным: всё, что было сказано о согласии, сказано о согласии сообщённом, а сообщает его рассказчик, и никто не знает, на каком основании.

Глава 2. Согласие

2.1 · Что значит быть готовым

Ликаон ловит колени Ахилла у реки и называет цену: за него дадут вдвое против того, что Ахилл выручил, когда в первый раз продал его на Лемнос. Ахилл отвечает, что выкупов больше не берёт. Тогда Ликаон отпускает копье, разводит руки и опускается на песок. То, что он делает в эту минуту, обыкновенно называют готовностью умереть.

Названо неточно. Ликаон до последнего вёл счёт: он предложил цену, цену не взяли, торг кончился не по его решению. Разница между «мне больше нечего предложить» и «я не предлагаю» на вид невелика, а первое условие узла держится на ней целиком. Условие названо в первой главе одним словом, и слово указывает на состояние внутри человека, стоящего у порога. Указание — ещё не определение, и потому начинать приходится с того, чем готовность не бывает ни в одной из версий, где её опознают.

Ближе всего к ней стоит смирение, и с ним её путают чаще, чем с остальными. Смирившийся принимает исход, не перестав хотеть иного: он согласился с тем, что будет, а не с тем, что так лучше. Ликаон здесь образцовый: он перебрал всё, чем располагал, — родство, прежний выкуп, чужую вину, — и, когда перебирать стало нечего, принял.

У Еврипида обе стороны различения показаны на одном лице, и это избавляет от натяжек сравнения. Ифигения сначала обнимает колени отца и просит теми же движениями, что Ликаон; потом встаёт, говорит, что отдаёт тело, и идёт к алтарю сама, и просит, чтобы её не держали. Вторая Ифигения отличается от первой не мужеством. Она перестала считать. Пока счёт шёл, жизнь оставалась величиной: её взвешивали против войска, против ветра, против дома, и взвешивание можно было проиграть. Смирение и есть проигранное взвешивание — величина осталась на месте, просто она оказалась легче.

У различения есть внешний признак, и он полезнее определения. Смирение опознаётся по закрытому выходу, готовность — по выходу открытому и невзятому. Критон приходит в тюрьму до рассвета и приносит с собой готовое: деньги собраны, стража сговорена, в Фессалии есть дом, а корабль с Делоса ещё не вошёл в гавань. Всё это — не уговоры, а расписание. Сократ выслушивает расписание и не пользуется им. Ликаону было некуда деться, Сократу было куда, и именно поэтому о втором корпус рассказывает иначе, чем о первом.

Сосед с обратным знаком ограничивается тем же способом. Илия уходит в пустыню на день пути, садится под можжевелевым кустом и просит себе смерти: довольно уже, возьми душу мою. Потом он засыпает. Его будят, и рядом оказывается лепёшка, испечённая на раскалённых камнях, и кувшин воды; он ест и ложится снова; его будят второй раз, он ест снова и после этого идёт сорок дней. Просьбу о смерти отменили хлебом и водой.

Устройство отчаяния отсюда видно целиком. Отчаявшийся хочет конца, и жизнь остаётся для него величиной — с обратным знаком, но величиной, которую он взвешивает и находит слишком тяжёлой. Отрицательная оценка есть оценка. Следствие практическое: торг с отчаявшимся возможен всегда, потому что ему есть что предложить, и курс известен заранее — еда, сон, срок, дорога. Иона просит себе смерти дважды, и во второй раз поводом служит засохшее за ночь растение, дававшее тень; человек, который меняет решение о собственном конце из-за тени над головой, ведёт счёт, а не прекратил его.

Ахилл предлагает Ифигении укрыть её и оборонять оружием; предложение не пустое, за ним стоит сила, способная его исполнить. Она отказывается. С Илией сработала лепёшка, с ней не сработало войско.

Третий сосед закрывает поле. Кана Юлия уводят на казнь, и его заставляют за доской: он играет в фигуры и, когда за ним приходят, пересчитывает их, поворачивается к сопернику и просит центуриона засвидетельствовать после, что он вёл одной фигурой больше. Безразличный не различает исходов вообще, и потому у него нет не только цены, но и предмета: отнять у него нечего не оттого, что он отдал, а оттого, что в его счёте ничто не отделено от прочего. Алкестида перед тем, как лечь, обходит дом и прощается по порядку — с алтарями, с ложем, на котором стала женой, с детьми, называя вслух и по именам всё, что теряет. Различение у неё сохранено полностью, и она всё-таки идёт. В той же версии есть и обратный пример, и стоит он рядом: Адмет перед тем обошёл отца и мать и просил каждого умереть вместо него, получив отказ от обоих. Он различает исходы не хуже жены и ведёт счёт до конца — ищет, чем заплатить, и находит, чем.

Двое сделали одно движение, и рассказано о них противоположное. Один прошёл мимо вещей, не назвав ни одной, кроме фигур на доске; другая назвала их все и каждую отдельно. Со стороны доска и ложе неразличимы: в обоих случаях человек занят чем-то посторонним, пока его ведут. Разница лежит там, куда наблюдателю хода нет.

Три соседа отсечены. Готовность — состояние, в котором собственная жизнь перестала быть аргументом в споре. Не обесценена: обесцененная жизнь — это отчаяние, там её ценят низко и потому продолжают оценивать. Не отвергнута: отвергнутая остаётся предметом отношения, а отношение можно переменить. Выведена из торга. Величину, которую вынули из уравнения, не приравнивают к нулю — ноль остаётся числом и участвует в счёте наравне с прочими; её переносят туда, где счёт не ведётся, и уравнение после этого решается без неё.

Формулировка не содержит ничего о доблести, и это не упущение. Свойство принадлежит человеку и ставит его выше или ниже других; положение принадлежит устройству случая, в который человек попал. Ифигения оказывается в нём после отцовского приговора, Алкестиды — по условию, оставленному богами её мужу, Начикета — потому что отец в раздражении отдал его Смерти. Ни один из троих этого положения не искал, и ни в одной версии оно не даётся в награду за прежние качества. Определение описывает, где человек стоит, а не каков он.

Слово «спор» взято точно. Спор продолжается: стороны на месте, предмет никуда не делся, доводы приводятся и выслушиваются. Ифигения после того, как встала, говорит долго — о тысяче кораблей, о ветре, который не даёт им выйти, о том, что варвары не должны править эллинами; доводов у неё не убавилось, убавился один. Ровно этот довод и составляет обычно всё содержание спора у порога: тот, кого уговаривают, ссылается на то, что он умрёт, а уговаривающий или опровергает это, или предлагает цену. Изъятие одного довода меняет разговор целиком, потому что остальные доводы направлены не на исход, а на его условия. Спор, в котором собственная жизнь больше не приводится, ведётся о другом и другими средствами.

Готовность не совпадает и с желанием умереть, хотя их постоянно сближают. Желающий смерти держит её перед собой как исход, который предпочтительнее прочих: у него есть образ результата, и он к нему движется. В готовности образа результата нет. Ифигения не знает, что будет после ножа, и ничего на этом не строит; Алкестиды выговаривает условия о том, что останется после неё, а не о том, что достанется ей. Жизнь выведена из торга — не обменена на лучшее.

Определение не требует и того, чтобы человек сам выбрал своё положение. Начикету отдают в раздражении, сказанным сгоряча словом, и он идёт исполнять чужую оговорку; Ифигению вызывают в Авлиду под предлогом свадьбы и ставят перед уже принятым решением; Алкестиды вызывается сама, но место, на которое она вызывается, создано условием, выговоренным не ею и даже не для неё. Готовность заставит их там, куда они приведены, и добровольность касается не входа в положение, а того, что в нём делается. Выбор в разбираемых версиях если и есть, то не между жизнью и смертью.

У определения есть граница. Оно ничего не говорит о длительности: жизнь выходит из счёта на один удар сердца у алтаря в Авлиде и держится вне счёта трое суток у порога, где Начикета ждёт хозяйку дома без воды и еды. Оно ничего не говорит и о том, чем состояние кончится, — человек может быть остановлен, а может не быть, и от этого готовность не становится другой. Внутри определения умещаются случаи, которые кончились по-разному.

Последнее ограничение тяжелее. Сказанное описывает состояние изнутри, через то, как оно устроено, и ничего не говорит о признаках, по которым его узнают со стороны. Вопрос этот не отвлечённый: определением, которым нельзя воспользоваться, корпус не разметить. Как выглядит выведенная из торга жизнь для того, кто смотрит, из устройства состояния не следует.

2.2 · Рука в огне

На жертвеннике горит огонь, разведённый для жертвы. Муций кладёт в него правую руку и держит, пока она горит. Он не говорит ничего, что относилось бы к боли, и лицо у него, по рассказу, остаётся неподвижным. Порсенна, сидящий напротив, велит оттащить его от огня. Из всей истории — засады в лагере, убитого по ошибке писца, суда, послов, снятой осады — нужно только это: рука, оставленная в огне, и человек, который её не убирает. Остальное объясняет, почему Муций оказался перед царём, и ничего не добавляет к тому, что произошло между ними у жертвенника.

Порсенна, велевший его оттащить, а потом отпустивший, опознал в эту минуту нечто вполне определённое. Опознал он не храбрость. Храбрость — качество, и с качеством можно иметь дело: храброго перекупают, храброго берут на службу, храброго обходят, потому что храбрость знает, где остановиться, и у неё есть цена, как у всякого свойства человека. Слово о доблести в рассказе произнесено, но, отпуская пленника, царь говорит другое: против себя тот дерзнул больше, чем против него. Порсенна узнал, что его угрозы не работают. Это сведение не о характере противника, а о собственном положении: единственное средство, которым царь располагал в этом разговоре, только что применили на его глазах — и оно не подействовало.

Существенно и то, в каком порядке это произошло. Царь грозил огнём прежде, чем огонь был применён: угроза устроена ступенями, сначала её показывают, потом исполняют, и весь расчёт держится на промежутке между показом и исполнением, где противник должен уступить. Муций этот промежуток убрал — положил руку сам, не дожидаясь, пока к нему подступят. Ступеней не осталось. Храбрый выдерживает угрозу и тем подтверждает, что угроза была настоящей; здесь угрозу сделали лишней, и подтверждать оказалось нечего.

Потому и отпускает. Отпустить покушавшегося не значит одобрить его; это значит признать, что удерживать бессмысленно, а казнить бесполезно. Осада после этого снимается не из восхищения, а по расчёту, и расчёт простой: если один пришёл и не испугался, а за ним, как сказано, стоят другие, то военная задача переменилась, и переменил её огонь, в котором ничего не случилось.

Механизм здесь общий и от римского материала не зависит. Торг требует, чтобы у стороны было что терять; угроза есть предложение с отрицательным знаком, и она предполагает того, кто принимает предложения. Там, где жизнь выведена из торга, предлагать нечего и грозить нечем: обе валюты, которыми ведутся переговоры у порога, разом выходят из обращения. Переговоры прекращаются не по великодушию одной стороны и не по упрямству другой, а по невозможности их продолжать. Определение, полученное изнутри, с этой стороны выглядит как внезапная немота сильнейшего: у него осталась вся его сила и не осталось ни одного хода.

То же самое видно там, где ход ещё возможен. Ахилл предлагает Ифигении оружие и укрытие, Критон приносит Сократу расписание побега, посланный приносит Илию лепёшку —

и каждый раз предложение держится на том, что жизнь остаётся величиной, которую можно вернуть. Илия её взял. Двое других не взяли, и разговор с ними кончился.

Запас предложений у сильнейшего в таких разговорах невелик, и перечислить его недолго: жизнь, отсрочка, облегчение условий, обещание чего-то для близких. Каждое из четырёх работает только против того, кто ведёт счёт. Порсенне после жертвенника остаётся одно исполнение — он всё ещё может убить Муция, и от этого ничего не изменится ни в осаде, ни в войне. Сила, которой нечего купить, перестаёт быть средством разговора и остаётся средством уничтожения, а уничтожение не есть довод: довод предполагает, что противная сторона его взвесит.

Остаётся спросить, чем именно Порсенна располагал, чтобы прийти к своему выводу. Он располагал рукой в огне. Заявление было, и оно ничего не произвело: Муций говорит царю, что он римлянин, что к смерти у него духу не меньше, чем было к убийству, и что за ним стоят другие, — и после этих слов царь велит обложить его огнём. Переменила дело не речь, а рука. Порядок этот держится во всём корпусе: опознание идёт по несловесному.

Проверить это можно на обратных случаях, и они в корпусе есть. Пётр говорит, что положит душу, и говорит это дважды, в самой сильной форме, какую допускает язык; несколько часов спустя он греется у костра во дворе и трижды отрекается от знакомства. У одного огня рука, у другого — слова. Слово было искренним в ту минуту, когда его давали, и всё же заранее ничего не удостоверяло, а потом ничего не удержало.

Из такого сопоставления обыкновенно выводят, что слова слабее дел. Вывод верный и слишком общий, чтобы им пользоваться. В корпусе дело обстоит определённое: слово о готовности не просто слабее — оно нигде не занимает места, которое занимает показанная готовность. Иеффай даёт обет и связывает себя им намертво, но обет говорит о будущем действии, а не о нынешнем состоянии; он обязывает, а не свидетельствует, и потому исполняется через силу, как долг, а не как продолжение того, чем человек уже располагает. Разница видна по тому, как обет достаётся тому, кто его дал: Иеффай встречает у ворот собственную дочь, вышедшую навстречу с тимпанами, и разрывает на себе одежды — слово держит его против воли. Макария в другой версии сама выходит и предлагает себя, прибавляя, что её никто не принуждал, — и версия опирается не на её слова, а на то, что она выходит.

Ифигения даёт случай, где слово и действие стоят рядом. Она говорит, что отдаёт тело, и она идёт к алтарю; сказанное и сделанное совпадают полностью. Если убрать её речь, оставив ход к алтарю, версия не изменится ни в чём существенном. Если убрать ход к алтарю, оставив речь, не останется ничего: девушка, объявившая о готовности и не двинувшаяся с места, есть та самая фигура, которую корпус нигде не считает прошедшей порог. Речь здесь украшает опознание, а не производит его.

Начикета показывает то же самое без огня и без ножа. У порога, где он стоит, нет ни жертвенника, ни орудия, ни зрителей; есть три ночи ожидания без воды и еды и есть закрытый дом, хозяйки которого нет на месте. Он не произносит речей о своей готовности и никому не объясняет, зачем ждёт. Вернувшаяся хозяйка не спрашивает, кто он и на что согласен: она сама называет три ночи, проведённые гостем у её порога без еды, и за каждую из них предлагает по дару. Опознание и здесь прошло по несловесному, и несловесным оказалось ожидание.

Обратный ход тем же путём не проходит. Молчание само по себе ничего не удостоверяет: молчать может тот, кому нечего сказать, и тот, кого не спросили. Опознание производит не отсутствие слов, а действие, в котором жизнь перестала участвовать как довод, — рука, оставленная там, где рук не оставляют, трое суток у порога, шаг к алтарю, который делают сами. Слова при этом могут быть, а могут отсутствовать; вес они прибавляют только тогда, когда действие уже совершено, и тогда прибавляют немного.

Тот же ряд продолжает Один, висящий на ясене девять ночей, пронзённый и отданный самому себе, не получивший ни хлеба, ни питья из рога. Речей о готовности нет и здесь; есть

срок, дерево и голод, и после этого — руны, поднятые с земли. Из четырёх случаев, взятых подряд, ни один не опирается на заявление. В двух из них есть свидетель, назвавший результат вслух, — Порсенна и хозяйка дома Смерти; на ясене свидетеля нет вовсе, и о девяти ночах сказано от первого лица.

Наблюдение это, взятое отдельно, выглядит удачным для книги. Готовность ненаблюдаема изнутри, но снаружи её узнают мгновенно и без ошибок — Порсенна узнал её за то время, что горела рука. Узнавание прошло, свидетель назвал результат, и результат этот записан в версии. Там, где узнавший есть, ему ни разу не понадобилось спрашивать.

2.3 · Непроверяемость

«Довольно уже, возьми душу мою» — слова человека, сидящего под можжевельным кустом и просящего себе смерти. По форме это заявление о готовности, и притом полное: жизнь названа, отдана и никаких условий не выставлено. Двумя стихами ниже тот же человек ест лепёшку и идёт дальше. Одна и та же фраза выходит и из готовности, и из отчаяния, и разобрать по фразе, из какого состояния она вышла, нельзя.

Отсюда открывается первая дверь, и за ней ничего не оказывается. Заявление симулируется без всякого усилия: сказать о своей готовности умереть не стоит ни труда, ни риска, и потому сказанное не удостоверяет ничего — ни в ту минуту, когда произнесено, ни задним числом. Цена слова не зависит от состояния говорящего, а проверка требует ровно обратного: чтобы признак было невозможно предъявить, не имея того, о чём он свидетельствует. Ифигения говорит, что отдаёт тело, и это подтверждается; те же слова в других устах не подтверждаются ничем. Корпус знает это и на слова нигде не опирается.

Заявление пробуют спасти переспросом. Того, кто сказал, спрашивают ещё раз, спрашивают при свидетелях, спрашивают после отсрочки, и повторенное слово считают весомее однократного. Это не спасение, а смена предмета: всё, что прибавляет переспрос, — это готовность повторить, и она стоит столько же, сколько первая. Проверка ощущается более строгой оттого, что стала более долгой. Единственное, что переспрос действительно делает, — переводит разговор к поступкам: спрашивающий начинает смотреть не на то, что ему отвечают, а на то, как отвечающий при этом себя держит.

Вторая дверь после первой кажется надёжной. Заявление отброшено, остаётся поведение: рука в огне, три ночи у закрытого дома, шаг к алтарю, который делают сами. Проверять поведением значит проверять тем, что нельзя произнести даром.

Дверь открывается в ту же комнату. Поведение, неотличимое от готовности, производят по меньшей мере три вещи, и готовности среди них нет. Первая — безрассудство: Фаэтон просит вожжи и получает их, не зная веса упряжки и не умея её удержать; со стороны он отдал себя целиком, а по существу не оценил, что отдаёт. Вторая — аффект: Патрокл в горячке боя трижды лезет на выступ стены, забыв наказ, под которым уходил, и трижды его отбрасывают; человек в этом состоянии не владеет собой, и его нежелание отступить есть свойство минуты, а не положения, в котором он оказался. Третья — расчёт: Кодр переодевается дровосеком, берёт серп и идёт к вражескому лагерю затевать ссору, зная наперёд, что за его гибель обещана победа городу; он предвидел исход и пошёл за ним, располагая образом результата, которого у готовности нет.

Поведение пробуют спасти степенью: чем дороже обходится действие, тем меньше остаётся места для подделки, и признаком берут не само действие, а его цену. Ход разумный и не работающий. Фаэтону вожжи обошлись не дешевле, чем Муцию рука, Патроклу выступ стены — не дешевле, чем Кодру ссора у чужого лагеря; цена уплачена во всех четырёх случаях сполна, а состояния были разные. Дорого обходящееся действие отсеивает притворяющихся и не отсеивает ни безрассудных, ни захваченных минутой, ни рассчитавших наперёд.

Три эти состояния разные, и снаружи все три дают руку в огне. Наблюдатель видит человека, который не отступает там, где отступают все; из этого он заключает о том, что происходит внутри, и заключает с одинаковой уверенностью в каждом из четырёх случаев. К трём прибавляется четвертое: безразличие даёт ту же картину и по той же причине. Кан за доской и Алкестида, обходящая дом, различаются тем, что происходит у них внутри, и не различаются ничем из того, что можно увидеть снаружи.

Остаётся исход, и третья дверь выглядит убедительнее двух первых. Человек прошёл порог, уцелел и переменился; у него оказалось нечто, чего не было. Заключить от этого назад — к состоянию, в котором он входил, — соблазнительно и, кажется, безопасно: рассуждение опирается не на слова и не на впечатление свидетеля, а на то, что случилось.

Ошибка здесь не в недостатке данных. Она в направлении вывода. Исход говорит о том, чем дело кончилось, и ничего не говорит о том, с чем в него вошли; между входом и выходом стоит всё событие, и именно оно, а не предшествующее состояние, ближайшая причина того, что вышло. Фаэтон вошёл, не зная веса упряжки, и с ним тоже случилось нечто необратимое; необратимость есть и там, где готовности не было вовсе. Признак, который отбирает случаи по тому, чем они кончились, — то самое сито с ячейкой по форме искомого, и первая глава уже показала, что найдёт такое сито.

К этому прибавляется то, чего исход не показывает вовсе. Он говорит только о тех, кто вышел. Случаи, где готовность была и остановки не последовало, до рассказчика не доходят и в счёт не входят, а без них неизвестно, насколько часто первое условие вообще сопровождается вторым.

Три двери, три проверки, и за каждой одна и та же пустая комната.

Первое условие узла — сообщённая готовность умереть — опирается на состояние внутри человека, и состояние это не предъявляется, не подтверждается извне и не воспроизводится по решению. Не предъявляется: изнутри его нельзя показать иначе, чем словом, а слово ничего не стоит. Не подтверждается: снаружи оно неотличимо от безразличия, безрассудства, аффекта и расчёта, и свидетель, называющий его вслух, называет собственную догадку. Не воспроизводится: человек, пожелавший войти в него по решению, обнаруживает, что решение принимается той самой величиной, которая должна быть из счёта выведена.

Из трёх отказов тяжелее всего последний, потому что он закрывает обход. Ненаблюдаемое иногда проверяют повторением: состояние, которое можно вызвать нарочно и получить те же следствия, устанавливается как реальное, хотя его никто не видел. Готовность вызвать нарочно нельзя. Опыт, который поставил бы её дважды, не ставится ни при каких условиях, и ни одна версия корпуса не рассказывает о человеке, который дважды вошёл бы в это состояние по собственному расписанию.

Сильнейшее возражение здесь — посвятельный обряд, который ставит человека у порога нарочно и по расписанию: посвящаемого укладывают в яму, накрывают и оплакивают как умершего, выдерживают срок и поднимают. Обстановка воспроизведена до мелочи, вплоть до золы и покрывала. Воспроизведена, однако, обстановка: лежащий в яме знает, что его поднимут, и знание это оставляет его жизнь в счёте — она отложена, а не выведена. Обряд повторяет порог и не повторяет того единственного, ради чего к порогу здесь обращаются.

Положение поэтому хуже, чем трудность. Книга взялась разбирать устойчивую форму, определив её двумя условиями, и центральное из двух только что оказалось ненаблюдаемым ни одним из способов, какими вообще проверяют. Это значит не «с таким предметом трудно работать» — работать не с чем. Разметить корпус по признаку, которого никто никогда не видел, нельзя; всякое утверждение, сделанное о случаях, отобранных подобным образом, будет утверждением о догадках тех, кто отбирал.

Под вопросом оказывается и то, чем книга уже пользовалась. Ликаон, Илия, Кан за доской, Ифигения и Алкестида были разнесены по трём состояниям и одному положению так,

будто о внутреннем устройстве каждого известно достоверно. Известно же о них одно: что именно о них сказано. Различие смирения, отчаяния, безразличия и готовности, выстроенное с такой тщательностью, повисает вместе с условием, которое оно должно было уточнить, — не потому, что различие неверно, а потому, что приложить его не к чему.

Первая глава оговорила, что критерий работает не везде, и назвала случаи, на которых он отказывает. Здесь отказывает не критерий на отдельных случаях. Здесь отказывает условие, ради которого он строился, и отказывает на всех случаях сразу, включая те, где он казался безупречным. Рука Муция в огне непроверяема ровно в той же степени, что и готовность Иова, если она там есть, размазанная по сорока главам: о первом рассказано ярче, и всё.

Ни одна из трёх дверей не заперта. Каждая открывается легко. Комната, в которую они ведут, и есть то место, где книга рассчитывала найти свой предмет.

2.4 · Согласие сообщённое

О руке, лежавшей в огне, известно из нескольких десятков строк, написанных через четыре с лишним столетия после того, как она там лежала. Жертвенник, неподвижное лицо, оттащивший стражник, отпущенный пленник — всё это стоит на странице и нигде больше. Ни один человек, задававший вопрос о готовности Муция, не имел дела с Муцием; он имел дело со страницей.

Смешивались до сих пор две разные вещи, и смешивались они так плотно, что вторая исчезала за первой. Первая — согласие как состояние человека: то, что провалило все три проверки, потому что его нельзя ни предъявить, ни подтвердить, ни повторить. Вторая — согласие как элемент рассказа: то, что рассказчик о своём герое либо сообщает, либо не сообщает. Про первое книга говорила; со вторым она всё это время работала.

Проверить подмену легко на любом разобранным месте. Порсенна опознал бесполезность угроз — сведение это взято не из Порсенны, а из фразы, в которой сказано, что он велел оттащить пленника и потом отпустил его. Ифигения перестала считать — известно об этом потому, что в версии есть её речь и её шаг к алтарю, и оба записаны. Кан за доской считает фигуры, и о том, что делается у него внутри, не сказано ничего, — отсюда и взялось прежнее затруднение: соперник по игре не отличил бы его безразличия от готовности. Для рассказчика различие есть всегда, потому что он им распоряжается: он сообщает, что человек прощался с ложем и алтарями, или не сообщает ничего.

Подмена ходит в обе стороны, и вторая её сторона незаметнее первой. Одна состоит в том, чтобы вычитывать из текста состояние: сказано «пошёл сам» — значит, был готов. Другая — в том, чтобы читать текст как протокол очевидца и спрашивать о недостающем: почему не описано, что он чувствовал, шёл ли он твёрдо, не дрогнул ли у алтаря. Оба вопроса обращены мимо страницы. На странице есть ровно то, что на ней есть, и отсутствие подробности — такой же её признак, как присутствие: рассказчик, не сообщивший о колебании, сообщил этим кое-что о том, как он строит сцену.

Второй предмет наблюдается вполне. Традиция либо сообщает о готовности, либо не сообщает; третьего положения нет, и вопрос решается чтением. В Авлиде сообщено: сказано, что она идёт сама и просит её не держать. У Ликаона сообщено обратное: названа цена, и названа отдельной строкой. О Фаэтоне не сообщено ничего похожего — сказано, что он просил вожжи, и не сказано, что он знал, чем это кончится. У Начикеты сообщено действием: три ночи у закрытого дома записаны как три ночи, и продолжительность их указана точно. Четыре версии, четыре одинаковых ответа у любого, кто возьмёт их в руки.

Случай, где сообщение спорно, разбирается тем же порядком и потому особенно наглядно. У жертвенника на горе о согласии связываемого сына не сказано ни слова: он спрашивает про агнца, ему отвечают, дальше идут дрова, верёвка и нож, и ни одна строка не говорит, что

он согласился. Поздние переработки этот пробел закрывают прямо — там он знает, что́ будет, называет свои годы и просит связать его крепче, чтобы не дёрнуться и не испортить дела. Различие между ранним и поздним здесь измеримо: известно, чего в тексте не было, что прибавлено, и в какую сторону прибавлено. Спор идёт не о состоянии человека на горе, а о том, в какой век традиция сочла нужным сообщить о его согласии, — и этот спор имеет решение.

Разночтения здесь бывают, и они другого рода. Одна рукопись даёт стих, другая его не даёт; поздняя переработка прибавляет герою речь, которой нет в ранней; перевод усиливает то, что в подлиннике сказано глуше. Всё это разбирается обычными средствами и заканчивается ответом — определённым, хотя иногда и сложным: в такой-то версии сообщено, в такой-то нет. Ни один из этих вопросов не упирается в комнату, куда вели три двери.

Провалившиеся проверки ко второму предмету неприменимы, и не потому, что для него сделано послабление. Они ему не нужны. Заявление проверяли на искренность — сообщённое не проверяют на искренность, его читают. Поведение проверяли на то, не вызвано ли оно аффектом, — в рассказе аффект тоже сообщается или не сообщается, и это опять вопрос чтения. Исход проверяли как след состояния — а в рассказе исход стоит рядом с состоянием на одной странице, и связь между ними устанавливает рассказчик, что само по себе наблюдаемо и подлежит разбору.

Предметом книги становится устойчивость способа рассказывать. Не то, что происходило с людьми у бродов, костров и алтарей, а то, что об этом рассказано в несвязанных традициях на протяжении трёх тысяч лет, и то, насколько одинаково рассказано. Вопрос «почему человек согласился умереть» книге недоступен. Вопрос «почему традиции, не знавшие друг друга, согласны в том, что он согласился» ей доступен полностью.

Новый предмет вдобавок предъявим целиком. Рассказы, из которых складывается корпус, отделены друг от друга языками, морями и тысячелетиями: между жертвенником на горе, порогом дома Смерти в индийской версии и ясенем северных песен нет ни одного пути передачи, который можно было бы указать. Проверяется это по датировкам, по языкам, по тому, что заимствуется вместе с сюжетами, когда заимствование действительно было. Форма, повторяющаяся там, где заимствовать было нечем и не у кого, есть наблюдаемый факт о текстах.

Из этого следует правило, и следует буквально. Всякое утверждение о закономерности формулируется о версиях, а не о людях: не «во всех случаях остановку производит другой», а «во всех версиях остановку производит другой»; не «согласившийся получает нечто, чего не имел», а «в версиях согласившемуся достаётся нечто, чего он не имел». Разница между двумя формулировками не стилистическая. Первая говорит о трёх тысячах лет человеческой жизни и не обеспечена ничем; вторая говорит о трёх тысячах лет рассказывания и обеспечена текстами, которые можно открыть и пересчитать.

Правило действует задним числом. Определение узла, полученное в первой главе, читается теперь так: узел налицо там, где в версии сообщена готовность умереть и сообщена внешняя остановка. Разбор пограничных случаев читается так же: критерий отказал не на Иове, а на версии об Иове, где ни готовность, ни остановка не локализованы. Проверка изъятием, которой проверялось первое условие, была всё это время проверкой на текстах: убирали не готовность человека, а сообщение о ней, и смотрели, что остаётся от рассказа. Ничего в первой главе от этого не пропадает — меняются формулировки, выводы стоят.

Названо всё это сужением, и сужение выглядит потерей. Потери нет. Предмет, о котором нельзя сказать ничего проверяемого, не есть богатство, которым стоит дорожить; предмет, о котором можно сказать многое и проверить сказанное, беднее только на слух. Всё, ради чего книга затевалась — три тысячи лет, независимые традиции, устойчивая форма, — лежит целиком в новом предмете, потому что и устойчивость, и независимость, и повторяемость суть свойства рассказов, а не состояний. Форму эту невозможно было бы обнаружить, имея дело с людьми поодиночке: она видна только на корпусе.

Сверх того, новый предмет поддаётся счёту. Версии пересчитываются: их можно разложить, отметить в каждой, сообщено ли согласие, кто останавливает, что достаётся вернувшемуся, — и получить число, а не впечатление. Состояния не пересчитываются никак. Оттого утверждения книги дальше и будут опираться на подсчёт по корпусу, а там, где подсчёт не выходит, это будет сказано.

Прибавляется и то, чего в прежнем предмете не было вовсе. Если книга работает с рассказами, то и всякая обнаруженная в них правильность допускает двоякое объяснение: либо так устроены события, о которых рассказывают, либо так устроено рассказывание. Вопрос о том, где стоит отбор — на людях, проходивших порог, или на рассказах, которые о них сложились, — оказывается поставлен уже здесь, в том самом месте, где книга меняет предмет. Разбирается он в двенадцатой главе.

Даром это не далось. Переход к рассказам не добыт разбором, а принят: книга допустила, что традиция сообщает о готовности не наугад, — что там, где сказано о согласии, за сообщением стоит хоть что-нибудь, кроме привычки рассказчика так строить сцену. Допущение это не доказано и здесь не доказывается. Оно взято, потому что без него не остаётся и предмета, и счёт по нему будет предъявлен в двенадцатой главе, где придётся ответить, чем обеспечено само сообщение.

Человек у ножа для книги закрыт. Страница, на которой о нём написано, открыта и лежит перед ней.

2.5 · Не поступок

Стену, сложенную однажды, можно сложить снова. Каменщик, которого хвалят за кладку, мог бы в тот день не выйти на работу, и в его руках была не только эта стена, но и всякая следующая; хвалят его за то, что стена стоит, и за то, что стоит она благодаря ему. Три условия сошлись здесь разом, и обыкновенно они сходятся незаметно, потому что слишком привычны.

Первое — намеренность. Поступком называют сделанное с умыслом: тот, кто задел кувшин локтем, кувшина не разбивал в том смысле, в каком его разбивает бросивший. Второе — повторяемость. За человеком, вернувшим найденный кошелек, признают честность потому, что предполагают: и в следующий раз он вернёт; случайно попавший в цель стрелок стрелком не считается, и монета, дважды выпавшая одной стороной, ничего не заслуживает. Третье — вменяемость результата. Похвала предполагает, что сделанное принадлежит сделавшему, а не обстоятельствам: выздоровевший сам по себе не заслуживает похвалы за выздоровление, хотя выздоровление и есть его собственное.

Намеренность не совпадает с добровольностью, и путать их не следует. Отдавший кошелек под угрозой действовал недобровольно — не он выбрал отдать, — но вполне намеренно: знал, что делает, и делал именно это. Для похвалы требуется второе: нужен умысел, направленный на то, что вышло. Работник, который держал доску и тем случайно спас чужую руку, руки не спасал.

Второе условие отпадает первым и целиком. Готовность не воспроизводится по решению — это уже установлено. Ифигения не могла бы повторить свой шаг к алтарю на другой день и по собственному расписанию; Начикета не мог бы простоять три ночи у другого порога, потому что понадобилась бы вторая оговорка отца. Однократное здесь не значит «случившееся один раз» — оно значит «не имеющее второго раза по устройству».

Повторяемость пробуют вернуть через характер: однажды оказавшийся готовым будто бы обнаружил свойство, которое было в нём и прежде, и в следующий раз обнаружит его снова. Корпус этого не подтверждает. О прошедших порог до порога сообщается мало, и сообщаемое ничего не предсказывает: о сыне, отданном в раздражении, — что его смутили скудные отцовские дары и он спросил отца, кому тот отдаёт его; о пришедшем к царю римлянине — что он

вызвался и был отпущен собранием; о жене, согласившейся лечь вместо мужа, — что она была ему женой. Ни одна версия не начинается с того, что герой был человеком особого склада, и ни одна не кончается тем, что он вошёл бы в это состояние снова.

Первое отпадает сложнее и потому требует различения. Изобразить можно всё, что видно: руку не убрать, к алтарю пойти, простоять три ночи. Именно на этом и стоял провал проверки поведением, где безрассудство, аффект и расчёт давали ту же картину. Но заслугу приписывают не картине. Приписывают её тому, что за картиной, — состоянию, которое состоит не в том, как человек держится, а в том, что собственная жизнь перестала быть у него доводом. Войти в это состояние по умыслу нельзя: умысел работает с доводами, а здесь дело в том, что один из доводов вышел из обращения. Намерение отдать жизнь остаётся торгом до той минуты, пока оно намерение.

Проще всего это видно на подставном случае. Тот, кто играет Ифигению на подмостках, делает в точности её движения: встаёт, говорит, что отдаёт тело, идёт к алтарю и просит не держать его. Движения повторены полностью, и никому не приходит в голову счесть игравшего готовым умереть. Заслуга, стало быть, приписывается не тому, что видно, и вопрос о подделке к делу не относится вовсе: подделать можно ровно то, что и не было основанием.

Третье условие уцелело. Что произошло, произошло с этим человеком и через него: не обстоятельства положили руку в огонь и не обстоятельства простояли три ночи у порога. Вменяемость результата налицо, и её никто не отнимает.

Одного условия из трёх мало. Поступком называется то, что удовлетворяет всем трём, и конструкция эта не произвольна: похвала и награда рассчитаны на человека, который мог поступить иначе, поступил так и поступит так снова. Из трёх предполагаемых черт налицо одна. Награда, выданная в такой ситуации, протянута в пустоту: получателя, каким его предполагает награждение, не существует, хотя человек, которому её вручают, стоит тут же и, возможно, её берёт.

Отсюда прямое следствие для одной из самых распространённых трактовок. Если поступка нет, то и награждать не за что, а значит, и дар, который достаётся вернувшемуся, не может быть наградой за согласие — не потому, что он велик или мал, соразмерен или несоразмерен, а потому, что у награждения нет того, к чему оно прикладывается. Обменная трактовка будет разобрана по материалу отдельно и там встретит свои трудности. Здесь она не опровергается, здесь отмечается, что она обречена и без материала: язык заслуги не прикладывается к тому, чего нельзя повторить и во что нельзя войти по умыслу. Держится эта трактовка на своей дешевизне: одним понятием она связывает разом оба конца — и то, что человек отдал, и то, что ему досталось, — и потому её берут раньше, чем начинают проверять. Отнять у неё нечего, кроме связи между концами, и связь эта снята тем, что понятия, которыми её вязали, к разным концам приложимы неодинаково.

Вместе с заслугой отпадает и соседнее слово — испытание. Испытывают по мере, установленной заранее: известно, сколько нужно поднять, сколько выстоять, где проходит черта, за которой испытание считается выдержанным. В версиях меры нет нигде. Не сказано, сколько времени нужно продержать руку в огне, чтобы вышло довольно, и три ночи Начикеты не названы ни достаточными, ни необходимыми, — они названы тем, что было. Где нет меры, там нет и выдержавшего: остаётся тот, с кем это произошло.

Из сказанного не следует, что согласие незначительно. Не следует и того, что происходящее с человеком у порога есть пустяк, случайность или недоразумение. Следует единственное: оно другого рода, чем поступок, и потому меряется другими понятиями. Положение, в которое человек попал и в котором остался, — вещь не меньшего веса, чем поступок, а иногда и большего: сложенная стена принадлежит каменщику, тогда как трое суток у закрытого дома принадлежат тому, кто их выстоял, полнее всякой стены. Их просто нельзя записать ему в счёт, потому что счёта здесь не ведётся ни с одной стороны.

Утверждение это техническое, и держать его нужно техническим. Оно говорит о том, какие понятия к чему приложимы, и не говорит ничего о цене человека, о том, каков он, и о том, чего он достоин. Сказать, что цвет нельзя взвесить, не значит сказать, что цвета нет или что он неважен; сказано этим только, что весы к нему не приложимы. Разбор устройства не есть оценка разбираемого. Вычеркнув заслугу, книга не вычёркивает ни Ифигении, ни Начикеты, ни Алкестиды: они остаются на своих местах в точности такими, какими их описали, и перестаёт работать только та рамка, в которую их по привычке ставят.

Привычка эта, впрочем, чужая корпусу. В версиях награда за согласие почти нигде не проговаривается, а там, где платят, платят за другое: хозяйка дома Смерти выговаривает три дара как возмещение за три ночи, которые гость провёл у её порога без угощения; Алкестиду возвращают мужу в уплату за то, что он принял гостя в доме, где был траур. Исключение — римский рассказ: Муцию за доблесть дают землю за Тибром, и здесь язык заслуги прикладывает к версии сам рассказчик. К остальным версиям его прикладывают позднее и снаружи — те, кто их читает и пересказывает. Само рассказывание обходится без него.

Остаётся согласие, очищенное от заслуги и переведённое в текст: сообщение о состоянии, в котором чья-то жизнь перестала быть доводом. Сообщение это есть, оно устойчиво, оно повторяется в традициях, не знавших друг друга. О самих же прошедших порог не сказано главного — и не сказано ими самими.

2.6 · Немота вернувшихся

Солнце взошло, когда он проходил Пенеул. Ночь у брода кончилась, имя переменялось, место получило название — и дальше идёт обычное: встреча с братом, поклоны, дети, представленные по матерям, разговор о том, кому куда идти. О самой ночи не сказано никому. Ни жёнам, переправленным через поток той же ночью, ни брату, ради встречи с которым всё затевалось, ни впоследствии сыновьям. Человек назвал место и пошёл дальше.

Одиночный случай ничего не доказывает, и рассказчик мог просто не задержаться на разговоре. Случай, однако, не одиночный. В свидетельствах о шаманском посвящении, записанных на севере Сибири уже в новое время, говорившие постоянно оговариваются, что передать происходившее с ними нельзя; оговорка эта повторяется у людей, друг с другом не знакомых, и стоит она ровно в том месте, где спрашивающий ждал подробностей. Поздняя авторская версия даёт ту же картину с той разницей, что здесь сохранилось всё написанное: человек, выведенный на плац и возвращённый с помоста, пишет брату в тот же день. Плацу отдан один абзац — приговор, белые рубахи, столб, минуту, которую оставалось жить, мысль о брате; остальное занято книгами, деньгами, нездоровьем и тем, что жизнь есть дар. Что делалось внутри этой минуты, в письме не сказано; пережитое он отдаст через восемнадцать лет вымышленному лицу в чужом рассказе, и это единственный способ, каким оно будет сказано.

Возвращённая Алкестиды стоит перед мужем и не говорит ни слова; объясняют это тем, что она посвящена подземным богам и молчание с неё снимется на третий день. Объяснение обрядовое, и оно любопытно именно тем, что понадобилось: молчание вернувшейся показалось рассказчику вещью, требующей отдельного оправдания, — настолько само собой разумеющейся оно не было. Сказать ей, впрочем, так и не дают: сцена на этом кончается, и третий день в версии не наступает.

Регулярность здесь важнее выразительности любого из случаев. Молчание рассказано по-разному: один уходит на рассвете, другой оговаривается перед спрашивающим, третий пишет о постороннем. Версий, в которых вернувшийся рассказывает, корпус почти не даёт.

Есть и обратный случай, и прятать его незачем. Эр-памфилиец, положенный на костёр и очнувшийся на двенадцатый день, рассказывает всё и подробно: луга, судьи, столп света, жребии, выбор участи, река забвения. Отказ полный, и никакой оговоркой он не снимается

— говорящий здесь именно вернувшийся, а не стоявший рядом. Рассказ этот единственный в своём роде и занимает в тексте особое место — он поставлен там, где нужно подтвердить учение о посмертной участи, и устроен как показание, данное в пользу тезиса. Ни одна другая версия корпуса так не устроена. Правило от единственного исключения не крепнет; исключение записывается как есть.

Объяснений этому предлагается два, оба готовые. Первое — потрясение: человек, побывавший там, лишается речи от пережитого. Второе — нехватка слов: язык устроен для общих вещей, а происшедшее слишком особенно, чтобы уместиться в общие слова.

Оба разбиваются об одно и то же обстоятельство. Потрясение проходит. Оно сильнее всего в первые дни, слабеет через месяцы и через годы отпускает почти всех; немота, о которой сообщают версии, не слабеет с годами и не имеет заметного срока — плач отстоит от вымышленного лица на восемнадцать лет, и за эти годы человек написал много тысяч страниц о чём угодно другом. Потрясение к тому же даёт разброс: одних оно запирает, другие начинают говорить без остановки, и именно так ведут себя уцелевшие в рассказах о бедствиях, где о пережитом рассказывают охотно и помногу. Корпус разброса не показывает.

Со второй причиной не лучше. Нехватка слов — свойство говорящего, и у разных людей она разная: там, где один разводит руками, другой находит оборот. Среди тех, о ком рассказано, есть работавшие со словом всю жизнь и владевшие им превосходно. В версиях они молчат так же, как молчат бессловесные. Косноязычие объяснило бы, почему одному трудно; оно не объясняет, почему трудно всем одинаково.

Регулярность, не зависящая ни от срока, ни от речистости, указывает не на состояние рассказчиков, а на устройство предмета.

Устройство это простое и от того не менее жёсткое. Всякое объяснение делает объясняемое сообщаемым: то, что объяснено, можно передать другому, другой передаст третьему, и вещь входит в общий запас — в число того, о чём умеют говорить, что сравнивают с известным и ставят в ряд. Событие, о котором идёт речь, определялось в рассказах выпадением из этого запаса: ушедший туда, откуда не возвращаются, возвращается и оказывается при том, чего в общем обиходе нет. Рассказать значит внести обратно. И потому рассказать нельзя — не трудно, а нельзя, не отменив того самого, о чём рассказывают.

Возразить на это проще всего тем, что рассказы всё-таки существуют, и книга их читает. Существуют, однако, рассказы особого устройства: в них есть подступ и есть последствие, а середина обойдена. У брода сказано, что некто боролся с Иаковом до зари; рассказчик его не называет, и спрошенное имя остаётся без ответа. В индийской версии подробно изложены два первых дара и содержание третьего, а о том, как знание перешло из рук в руки за порогом, не сказано ничего. Форма рассказа сама несёт на себе отпечаток того, о чём рассказать нельзя: она обходит центр и смыкается за ним.

Отсюда же видно, почему молчание не есть знак особой глубины. В нём нет ничего, кроме несовместимости двух положений: вещь либо в общем запасе, либо вне его. Молчание в этих рассказах устроено не как хранение чего-то слишком важного для слов, а как единственный способ не сделать с событием ровно того, от чего оно отличалось. Имя месту дать можно — имя указывает, не пересказывая. Рассказа дать нельзя.

У наблюдения есть прямое следствие для источников, и следствие это переворачивает привычный порядок чтения. Если носители в версиях молчат, то тексты сложены не ими. Написаны они теми, кто был рядом: кто ждал на берегу, кто видел человека утром, кто пересчитывал фигуры после того, как уводили игравшего, кто слышал от третьих лиц и записал сто лет спустя. У брода ночью не было никого. Значит, сцена борьбы у потока сложена не участником, а традицией, получившей в своё распоряжение утро, имя места и переменившееся имя человека, — всё, кроме самой ночи.

Роли эти в версиях распределены открыто. О том, что случилось у алтаря в Авлиде, сообщает вестник, прибежавший оттуда; самой Ифигении на сцене в эту минуту нет. Прощание Алкестиды с ложем и алтарями, на котором строилось всё различие с безразличным, известно со слов служанки, вышедшей из дома и пересказавшей увиденное хору, — сама она об этом не говорит ни до, ни после. Порсенна видел руку в огне и молчания не хранил. Согласие, показанное действием, в этих версиях сообщено кем-то третьим, и третий этот стоит на виду, названный в тексте по должности: вестник, служанка, царь, писавший впоследствии историк.

Второе правило, введённое переменной предмета, получает тем самым подкрепление с неожиданной стороны. Книга отказалась от состояний и взяла рассказы, и отказ выглядел решением исследователя, стеснённого нехваткой средств. Средств не было изначально. Доступа к состояниям не имел никто, включая ближайших свидетелей и самих носителей, и корпус, с которым книга имеет дело, с первой своей строки состоит из рассказов посторонних.

Один только раз третьего нет — на ясене, где о девяти ночах сказано от первого лица и сказано в песне, приписанной самому висевшему. Свидетеля там не было, и потому не было и возможности проверить, кто говорит. Разрыв этот отмечается и остаётся открытым.

Рука в огне работала потому, что молчала: опознание шло по несловесному, и Порсенне хватило горячей ладони, чтобы переменить свои планы. Слова о готовности в рассказах не работают нигде — ни до порога, где их произносит кто угодно, ни после него, где их не произносит никто. Между этими двумя молчаниями и уместилось всё, чем книга располагает: сообщение, сделанное о человеке теми, кто стоял рядом.

Предмет от этого стал уже и вместе с тем познаваем. Устойчивость формы, независимость традиций, повторяемость сцен, распределение того, что достаётся вернувшимся, — всё это лежит в текстах, открыто для счёта и проверки. О самих же прошедших порог не будет узнано ничего. Ни одного слова изнутри, ни одного свидетельства, которое не прошло бы через постороннего, ни единой возможности спросить. Книга получила корпус ценой людей, и цена эта уплачена не ею — она была уплачена задолго до неё, на рассвете, когда человек назвал место и пошёл дальше.

Глава 3. Остановка

3.1 · Наблюдение по корпусу

Нож у Авраама уже занесён, и останавливает его голос с неба. Текст называет говорящего прежде, чем передаёт сказанное: ангел Господень воззвал, и лишь потом прозвучало — не поднимай руки на отрока. Ни в одной строке этой сцены рука не опускается сама. Мальчик к этому времени связан и лежит на дровах, дрова разложены, огонь при отце, — всё доведено до последнего движения, и последнее движение отменяется снаружи. Она перехвачена, и перехватившего рассказ не оставляет безмянным.

То же в Авлиде. Жрец заносит нож, войско отворачивается, и нож проходит вниз — но находит не то тело. Вестник, вызвавший из шатра Клитемнестру, говорит о лани, бьющейся на земле, и о деве, которой нет. Подмену производит Артемида; названа она, а не безличная перемена в воздухе. Войско перед тем стоит с опущенными глазами, жрец держит нож над чашей, и ни один из присутствующих не знает, в какое мгновение тело переменялось. Готовность Ифигении к этому моменту сообщена дважды, и ни разу она сама не прекращает начатого.

Начикета три ночи ждёт у порога, куда его отдали, и не уходит. Прекращает ожидание хозяйка дома: Смерть возвращается, находит брахмана непринятым и расплавляется сама, тремя дарами. Здесь останавливающий и принимающий совпали в одном лице, и лицо это названо по имени. Отец отдал его в сердцах и вернуть отданное не может: отцовское слово в этом рассказе необратимо, и порога оно не переступает. Отданный не отменял своей отданности — с ним рассчитались.

Крез уже стоит на костре, и рядом с ним четырнадцать лидийских отроков, возведённых туда же. Костёр горит. Дальше в рассказе две остановки подряд, и обе приходят снаружи. Сначала Кир, услышав имя Солона, велит гасить огонь — передумывает тот, кто велел зажечь. Потом, когда пламя не поддаётся людям, с ясного неба сходит ливень, и ливень этот отнесён к Аполлону, которого Крез позвал. Ни одна из двух остановок не принадлежит стоящему на костре: он только зовёт, и обе руки, гасящие огонь, — чужие.

Печь, раскалённая всемеро, устроена так, что убивает бросающих. Трое, отказавшихся поклониться, сказали заранее: бог может избавить, а если и не избавит, служить всё равно не станем — согласие здесь сообщено в самой сильной из возможных форм, оно не отменяется и на случай неизбавления. Огня они не гасят. Их бросают связанными, как были, в исподнем и головных повязках, и пламя убивает тех, кто бросал. Вавилонский царь, заглянув в устье печи, видит четвёртого ходящим посреди огня, и четвёртый назван.

Дальше перебор идёт без разборов. Даниила во рву останавливает ангел, заградивший пасть львам; Иону — рыба, которой повелено; Алкестиду — Геракл, отбивающий её у Танатоса прямо у могилы; Сатъявана — Яма, отдающий взятое по счёту выпрошенных даров. Перечень можно длить, и длится он одинаково. Ни в одной версии корпуса руку не останавливает тот, чья это рука.

Останавливающие при этом разного рода, и различие их заметнее сходства. Один раз это верховное лицо традиции, другой — посланный от него, третий — тот самый, кому отдают, четвёртый — прохожий силач, пятый — животное, получившее повеление. Расстояние между ливнем над лидийским костром и Гераклом, караулящим у могилы, велико настолько, насколько вообще могут расходиться два рассказа. Совпадает в них одно: место останавливающего занято, и занято не тем, кто на пороге.

У перебора есть край. Рассказы, где занесённое доведено до конца, существуют, и их немало: дочь Иеффая уходит на два месяца в горы и возвращается к отцу, и никто не пере-

хватывает ничьей руки. В корпус такие версии не входят — не по мягкости отбора, а потому, что второго условия в них нет. Правило поэтому говорит о версиях с остановкой и ни о чём другом: там, где останавливают, останавливает другой.

Останавливающий назван всегда. Строгой нужды в этом нет. «И рука его остановилась» — фраза, которая держала бы сюжет не хуже: событие названо, порог пройден, человек жив. Рассказ обошёлся бы без деятеля, как обходится без него, когда сообщает, что поднялся ветер или что настало утро. Традиции, между собой не связанные, тем не менее называют — бога, вестника, богиню, саму смерть, зверя, которому дано повеление.

Что безымянность рассказа доступна, видно в тех же текстах, иногда в нескольких строках от остановки. Жребий на корабле бросают все разом, и падает он на Иону сам собою: чья рука его направила и отчего он лёг именно так — ничего этого нет, и рассказ не беднеет. Через десяток стихов рыбе повелевают, и повелевший назван. Одно и то же повествование, один и тот же отрезок пути, две разные степени определённости — и большая приходится на остановку.

Избыточность эта устойчива ровно настолько же, насколько само правило. В корпусе не нашлось версии, где вмешательство приходит и остаётся неатрибутированным. Наблюдение записывается и оставляется без объяснения.

Правило, держащееся во всём корпусе, полагается проверить там, где оно на вид нарушено. Три версии выглядят так, будто прекращение в них принадлежит стоящему у порога: в каждой согласившийся распоряжается собой заметнее, чем в разобранных выше, и в каждой у него есть мгновение, когда всё как будто в его руках.

Муций кладёт правую руку в огонь на жертвеннике и держит её там, пока она горит, и лицо у него при этом не меняется. Распоряжается он как будто сам: руку положил он, никто его не принуждал, и убрать её мог бы в любое мгновение. Огонь прекращает не он. Порсенна, поражённый, велит оттащить юношу от жертвенника — и отпускает его. Решение о прекращении принял царь; Муций до последнего только длил начатое.

Иона сам говорит корабельщикам: возьмите меня и бросьте в море. Формула согласия здесь вложена в его собственные уста, и это самый сильный кандидат в контрпримеры, какой даёт корпус. Но в море его бросают другие, и бросают не сразу: сперва гребут к берегу и лишь потом уступают. Дальше согласие исполнено полностью — он в воде, он идёт вниз, — и то, что превращает исполнение в неисполнение, приходит извне и отдельным распоряжением: рыбе повелено поглотить, потом рыбе сказано извергнуть. Просивший выбросить себя за борт не просил ни о том, ни о другом.

Алкестида вызвалась умереть за мужа, когда никто больше не вызвался, и умерла: её оплакали, её вынесли, над ней насыпают холм. Прекращение приходит после смерти и принадлежит чужаку, случайно оказавшемуся в доме. Геракл идёт к могиле, подстерегает Танатоса и отнимает взятое силой. Согласившаяся при этом не участвует вовсе — её приводят обратно под покрывалом и молчащую, и муж, которому её возвращают, сперва её не узнаёт. Между её согласием и её возвращением не стоит ни одного её собственного действия.

Ни один из трёх не устоял, и каждый проверялся на одно: кто принимает решение о прекращении. Проверка нарочно велась на самых неудобных версиях, а не на удобных, и ни разу не потребовала истолкования — в каждой из трёх достаточно было дочитать до места, где начатое прекращается, и посмотреть, чьё действие там стоит. Если бы контрпример устоял, он был бы записан как контрпример. Правило удерживается: во всех версиях корпуса остановку производит другой.

У правила есть слабое место. Существует версия, где указать остановившего нельзя: приносящий и приносимый в ней совпали, снять висящего с дерева некому, и обряд тем не менее заканчивается. Она разбирается отдельно.

Пока правило записано в той форме, в какой корпус его даёт. Во всех версиях, где останавливающий вообще указан, он не совпадает с тем, кто на пороге, и совпадения этого не слу-

чается ни при каком расстоянии между традициями. Формулировка получилась уже, чем хотелось бы: она говорит о версиях с указанным останавливающим, и только о них.

Занесённая рука, перехваченная из-за края кадра, повторяется три тысячи лет в традициях, ничего друг о друге не знавших. Перехватывающая рука всегда имеет имя.

3.2 · Механика подмены

Овен запутался рогами в чаще, и он там уже стоит, когда рука остановлена. Дальше Авраам делает то, чего от милующего рассказа ждать не приходится: он идёт, берёт овна и возносит его во всеожжение вместо сына. Дрова те же, жертвенник тот же, нож тот же самый. Прерван не обряд, а только его направление: начатое доводится до конца на другом теле.

В Авлиде порядок ещё жёстче. Нож опускается, кровь льётся на алтарь, войско получает знак, которого ждало, ветер поднимается, и флот идёт на Трою. Заменённой оказалась дева, но ни одно звено обряда не выпало: жрец не опустил рук, гимн не оборвался, жертва сочтена принятой всеми, кто стоял вокруг. Со стороны смотрящих не изменилось ничего, кроме тела, на котором обряд завершился.

Третий образец берётся не из повествования, а из устава. В день очищения перед скинией ставят двух козлов и бросают о них жребий: один идёт в жертву, другой уводится в пустыню, унося на себе всё, что на него возложено. Устав расписывает обе половины одинаково подробно, и обе исполняются до конца. Замена здесь предусмотрена заранее и вписана в самый порядок обряда, а не приходит в него как нарушение.

Тот же устав знает и замену, назначенную вперёд на много поколений. Всякий первенец принадлежит не себе, и всякого первенца выкупают: осла — агнцем, сына — назначенной платой, вносимой в положенный срок. Обязательство при этом не отменяется, оно исполняется другим предметом; неисполнение же прямо оговорено как исход, при котором взятое берётся. Замена здесь не уступка слабому, а способ, которым требование удовлетворяют, оставляя его в силе.

Из этих четырёх видно первое: подмена не останавливает начатого. Она случается внутри действия, а не вместо него, и после неё действие продолжается тем же порядком, с тем же ножом и в ту же сторону. Рассказ, желающий сказать, что жертвы не было, устроил бы сцену иначе — увёл бы людей с горы, погасил бы огонь, отменил бы отплытие.

Первое ходовое прочтение толкует подмену как милосердие. Оно сильно и опирается на самое очевидное: человек, который должен был умереть, остался жив, и остался жив по воле того, кто мог этого не делать. В такой картине жертва не состоялась. Было испытание, испытание пройдено, требование снято за ненужность, и животное в чаще — знак того, что требование было ненастоящим. Прочтение это не наивно и держится на самом тексте: голос с неба говорит, что теперь знает, и слово «теперь» стоит там, где стоял бы конец проверки. К нему же склоняются версии, в которых замена приходит как награда за выдержанное, и версии, где заменяющее животное посылают с явным знаком благоволения. Читатель, остановившийся на этом прочтении, не сделал ошибки против материала — он просто дочитал сцену до середины.

Проверяется это прочтение просто: если требование снято, зачем животное. Милующему довольно сказать, что довольно. Но овна возносят, и возносят именно вместо, а лань кладут на алтарь, и кровь её проливают на то же место, куда пролилась бы кровь девы. Ни одна из традиций корпуса не описывает подмену как отмену обряда; во всех версиях обряд доводится до конца, и доведение это составляет отдельное сообщаемое действие, которому в тексте отводится столько же места, сколько остановке.

Второе прочтение толкует подмену как обман: принимающему подсунули животное вместо человека, и он либо не заметил, либо согласился не заметить. Оно сильно тем, что объясняет странность замены без всякой метафизики, одной житейской механикой — так откупа-

ются, так подставляют вместо дорогого дешёвое. На двух версиях из корпуса, авраамовой и авлидской, оно почти проходит.

Держится оно и на бытовой очевидности обрядовой практики: заклатие скота дёшево, человеческая жертва редка, и переход от второго к первому выглядит естественным удешевлением, каким его и описывают, когда говорят о смягчении древних порядков. Версия с козлом отпущения даёт ему ещё один упор: община отсылает в пустыню животное, а не человека, и отсылаемое уносит то, чего община не хочет нести сама.

Ломается оно на том, кто подменяет. В Авлиде лань подставляет сама богиня, которой жертва предназначена: обманывающий и обманываемый оказываются одним лицом, и обман становится нечем совершить. В авраамовой сцене овна не приводит никто из людей — он уже в чаще, когда голос звучит с неба, и распорядиться им Аврааму велено тем же голосом, который остановил его руку. Подмена в корпусе идёт сверху, а не снизу. Подсовывает та сторона, которой подсовывают.

Оба прочтения отпадают по одной причине: они предполагают, что принятое не принято. Материал говорит обратное. Принятое остаётся принятым, счёт закрыт, и закрыт он в пользу принимающей стороны — обряд завершён, знак дан, ветер поднялся.

Отсюда видно, где проходит линия разреза. При замене сохраняется согласие и заменяется тело. Сохраняемое — то, ради чего обряд ведётся: отданность, сообщённая и доведённая до последнего мгновения. Заменяемое — то, на чём обряд физически исполняется, и оно оказывается тем, вместо чего можно взять другое.

С другого конца — со стороны той, кого заменяют, — линия та же. Ифигения идёт к алтарю сама, и слова её сказаны до подмены, а не после: она отдаёт себя, зная, зачем её привели. Лань появляется потом. Если бы деву притащили связанной и молчащей, замена животным ничего бы не спасла и ничего бы не значила, потому что заменять было бы нечего — обряд, ради которого стоит войско, держится не на теле, положенном на алтарь, а на том, что тело это отдано.

Проверить эту линию можно версией, где заменяют не животным, а человеком. Алкестида умирает за Адмета, и замена срабатывает: она принята, её уносят, счёт закрыт. Но срабатывает она единственным условием — Алкестида согласилась. Прежде неё спрашивали стариков-родителей, и отказ их не был ни обманом, ни хитростью: заменить Адмета их телами было нельзя, потому что тел без согласия для этой замены не хватает. Заменимо тело, снабжённое согласием. Само согласие ничем не заменяется, ничьё чужое не годится, и никакая доплата телами его не восполняет.

Со стороны замещающего согласие в переводе не участвует. Овна никто не спрашивает. Лань не соглашалась, козёл не соглашался, агнец, отданный за осла, не знал, за что его отдают. Согласие берут у одного, тело — у другого, и обряд от этого не расстраивается. Складывать жертву из двух разных существ оказывается возможно, потому что части её не связаны: то, ради чего обряд ведётся, приходит от человека, а то, на чём он исполняется, годится любое из положенных.

Отсюда и точная формула того, что делает подмена. Она не милосердие и не обман, а перевод: принято то же, но в другой валюте. Валюта меняется — человек на овна, дева на лань, вина общины на козла, уводимого в пустыню. Обряд, начатый в одной валюте, заканчивается в другой, и недостатки ни одна версия корпуса не сообщает. По какому курсу ведётся такой перевод, ни одна традиция тоже не сообщает, и вопрос этот здесь не ставится — довольно того, что перевод состоялся и что состоялся он без остатка.

Из этого следует замечание. Раз заменимо тело и незаменимо согласие, тело оказывается наименее существенной частью жертвы — той частью, на которую обряд опирается физически и которой он может распорядиться по-разному, не теряя силы. Перевод возможен именно потому, что на теле смысл не держится.

Держится замечание на всём разобранным разом: во всех четырёх образцах заменяется одно и то же — вещество, на котором обряд исполняется. Согласие не заменено ни разу. В корпусе не нашлось версии, где вместо одного согласия принимают другое или где согласия набирают по частям с нескольких участников.

У всего разобранного есть граница, и она проходит по составу корпуса. Подмена работает там, где есть чем заменить: овен в чаще, лань под рукой богини, козёл в загоне, агнец за осла. Версий без замещающего тела в корпусе не меньше — Начикету не выкупают животным, Креза с костра не сводят чужой смертью, и ни в той, ни в другой ничего на алтарь взамен не кладут. Сказанное о переводе сказано о версиях с заменой и только о них. Что делается там, где замещать нечем, здесь не установлено.

Замечание записывается и передаётся в главу седьмую. Здесь оно не разворачивается: у него нет ещё материала, на котором была бы видна его цена. Пока довольно того, что при переводе из валюты в валюту первым уходит тело, а последним — то, что уйти не может.

3.3 · Когда замещать нечем

Девять ночей на дереве, качающемся под ветром, и никого внизу. Песнь говорит о висящем прямо: уязвлён копьём, отдан Одину, сам себе принесённый в жертву — и на том дереве, о котором никому не ведомо, из какого корня оно растёт. Ни хлеба ему не подали, ни рога с питьём. В подлиннике одно и то же слово стоит в этой формуле дважды, в двух падежах, и разнотчением его не объяснить: приносящий и приносимый здесь одно лицо.

Обряд при этом узнаваем, и узнаваем он не из песни. О роще при большом святилище оставил описание чужой, христианский хронист, смотревший со стороны: там висели тела принесённых, люди и животные вперемешку, и роща считалась священной из-за них. Висение и уязвление копьём — обиходный способ этой традиции отдавать, а не выдумка одной песни. Висящий на ясене занимает в известном обряде место жертвы, и занимает его со всеми признаками, какие о нём известны: дерево, копьё, срок.

Этим версия и отличается от всего разобранного. Овна в чаще нет, лани нет, козла нет, и привести их некому: тот, кто исполняет обряд, сам на нём и лежит. Некому и снять. Девять ночей никто не подходит к дереву, и висящий смотрит вниз в пустоту, а не на приготовления вокруг.

Формула «сам себе» при этом обоюдоострая, и острия её смотрят в разные стороны. С одной — отданность здесь полнее, чем где бы то ни было: нет ни отца, отдающего сына, ни царя, посылающего на костёр, ни войска, требующего девы; всё сделано одним лицом и в отношении себя. С другой — остановить в такой версии мог бы, кажется, только он сам: другого лица в сцене нет.

И всё же обряд заканчивается. Висящий подхватывает руны снизу, с криком, и падает с дерева обратно. Дальше — приобретённое: девять песней, мёд поэзии, умение, которого прежде не было. По составу это узел без единого изъятия: отданность сообщена, порог пройден, положение изменилось. Недостаёт одного — того, кто остановил.

Состав узла в ней виден без натяжки, и это делает затруднение настоящим. Отданность сообщена прямым словом и сообщена дважды. Порог пройден: девять ночей без еды и питья на дереве, с раной от копья, — состояние, из которого в этих же традициях обыкновенно не возвращаются. Приобретённое названо и перечислено. Недостаёт единственного звена, и звено это как раз то, которое глава объявила обязательным.

Вычитать её не за что. Она входит по обоим условиям и входит с запасом: отданность в ней названа прямым словом, а порог пройден настолько, что висящего девять ночей никто не отличил бы от мёртвого. Необычность её к делу не идёт — необычна всякая версия корпуса,

на то она и версия, а мерой служат два условия и ничего сверх. Отвод по признаку странности означал бы, что корпус подбирается под правило.

Ставить вопрос поэтому приходится в неудобном виде и без подготовленного ответа. Кто здесь остановил? Ответ «никто» разрешён и должен быть разрешён заранее, иначе разбор становится церемонией при готовом выводе.

Запись отказа выглядела бы просто. Правило сузилось бы до части корпуса: во всех версиях, кроме одной, остановку производит другой; в одной прекращение приходит без того, кто его производит, и объяснить это нечем. Дальше книге пришлось бы опираться на правило с изъятием и всякий раз, ссылаясь на него, оговаривать ясень. Ничего страшнее этого отказ не влёт.

Смотреть, стало быть, надо на конец, и смотреть по тексту. Прекращение приходит в песни так же, как приходит рассвет: оно наступает. Висящий не назначает срока, не объявляет обряд оконченным, не снимает себя с дерева и не просит, чтобы сняли. Девять ночей песнь называет сроком, но назначившим этот срок висящего не называет. Руны он видит внизу — не создаёт их и не вызывает; они там, он подхватывает их, кричит и падает.

Тем же порядком устроен и вход. Висящего никто не вешает — он отдан, и отдан сам себе; на дереве он оказывается без чужой руки, и без чужой же руки с него сходит. Между этими двумя точками стоит срок, и весь рассказ помещается в срок, а не в чьё-либо решение.

Разница между «наступает» и «совершается» проходит по одному: есть ли действие, после которого положение переменялось. Когда прекращение совершается, в тексте стоит деятель и стоит его действие — ангел воззвал, богиня подменила, царь велел оттащить, Геракл отнял. Когда прекращение наступает, в тексте стоит срок и стоит переход: девять ночей истекли, руны оказались доступны, висящий упал вниз. Второе устроено как погода, а не как поступок.

Традиция описывает окончание именно вторым способом, и способ этот выдержан до конца: ни один глагол сцены не приписывает висящему решения о её завершении. Он подхватывает и падает; ни то, ни другое не есть распоряжение собой. Падение вообще из разряда того, что с человеком делается, а не того, что человек делает.

Почему традиция описала окончание именно так, отсюда не видно. Объяснений напрашивается несколько: девять ночей — назначенное число, а назначенное число само обрывает то, что им отмерено; висящий отдан себе, и распорядиться собой ему нечем, потому что распоряжающийся и есть отданное; язык обряда вообще предпочитает срок поступку, и сроком в нём меряются посты, ожидания и сидения. Ни одно из трёх на одной версии не проверяется. Материала для выбора нет, и выбор не делается.

Отсюда следует то, ради чего версия разбиралась. Она не даёт остановившего — и не даёт при этом никакого решения, принятого стоящим у порога. Правило 3.1 говорило больше, чем корпус позволяет: оно говорило, что останавливает другой, и опиралось на то, что другой в версиях назван. Здесь другого нет, а сам висящий всё равно не останавливает.

Правило поэтому записывается точнее: остановка никогда не есть решение того, кто на пороге, хотя не всегда персонифицирована. Обе половины формулировки работают. Первая сохраняет добытое сплошным перебором и сохраняет в полном объёме: отрицательная её часть — «не есть решение» — держится во всех версиях корпуса без исключения, и версия с ясенем её подтверждает, а не подрывает. Вторая вычитает то, чего перебор не покрыл: в одной версии останавливающего указать нельзя, и указывать его книга не берётся.

Здесь переписано не правило под версию, а правило под то, в чём все версии сходятся между собой: отсутствие решения у стоящего на пороге. Отсутствие это видно и там, где вмешивающийся назван, и там, где его нет, — и в первом разряде версий оно вообще не требовало отдельного наблюдения, поскольку перекрывалось присутствием чужой руки. Версия с ясенем эту руку убрала и оставила голым то, что держится без неё.

Вычитаемое имеет цену. Уточнённое правило слабее прежнего: оно уже не утверждает, что в корпусе всегда есть тот, кто вмешивается. Наблюдение о названном останавливающем при этом не отменяется — оно сужается до версий, где вмешательство вообще есть, и таких версий подавляющее большинство. Одна против всех остальных; счёт указывается прямо, и прямо указывается, что одной довольно для оговорки и недостаточно для отмены.

Поставленные рядом, две версии с ожиданием расходятся в одной точке. Начикета три ночи ждёт у чужого порога, и ожидание кончается тем, что хозяйка возвращается домой: конец приходит вместе с ней и назван её приходом. На ясене ждут девять ночей, и не приходит никто. Кончается и то, и другое ожидание — но во втором случае указать, чьим приходом оно кончилось, нельзя.

Ясень остаётся стоять, и никто к нему так и не подошёл. Ни одна рука не появляется из-за края кадра, и кадр от этого не пустеет: в нём по-прежнему дерево, копьё и девять ночей, срок которых песнь никому не приписывает. Правило после этой версии стало точнее и короче ровно на то, чего оно не покрывает.

3.4 · Тот, кого нельзя пожертвовать

Межевой камень, сдвинутый с места, делает сдвинувшего человеком, которого дозволено убить. Древние римские законы знают эту формулу и повторяют её с однообразием устава: за такое-то — да будет посвящён. Слово в формуле стоит то самое, каким обозначают отданное богам, и звучит оно как приговор. Последствия из него, однако, выходят двойные и на первый взгляд несовместимые.

Случаев, за которые формула назначается, немного, и они разнородны. Патрон, обманувший своего клиента, попадает под неё так же, как сдвинувший межу; тот, кто поднял руку на неприкосновенного по особому закону, — тоже, и вместе с ним его имущество, которое тут же продают в пользу храма. Общее у этих проступков одно: нарушено то, на чём держится сам порядок счёта — граница поля, верность покровителя, неприкосновенность народного заступника. Наказание за это назначено не по размеру ущерба, а изъятием нарушителя из порядка целиком.

Положение это описано в источниках коротко и без колебаний. Человек, объявленный таким, не приносится в жертву — это не дозволено; но убивший его не отвечает за убийство. Обе половины даны рядом, в одной строке, как два свойства одного статуса. Ни та, ни другая не есть милость: первая ничего не защищает, вторая ничего не разрешает сверх того, что и так произойдёт.

Свойства эти берутся порознь: вместе они читаются как парадокс и тем закрывают вид. Первое: его смерть не влечёт последствий. Нет дела, нет вины, нет мстителя, за которым признано право мстить, нет процесса, в котором кто-нибудь выступил бы за него. Правовой оборот, в котором всякая смерть чего-нибудь стоит и кем-нибудь взыскивается, эту смерть не считает вовсе — она выпадает из счёта, а не оценивается дёшево.

Второе свойство обращено в другую сторону. Его нельзя положить на алтарь. Обряд, которому в этих же традициях отдают быков, овец и первенцев скота, его не принимает: тело есть, согласие могло бы быть, нож найдётся — и всё-таки это не жертва и жертвой не станет. Прямого объяснения источники не дают; то, к которому они подводят, устроено как счёт: отданное однажды дважды не отдают, и посвящённый принадлежит уже не людям, так что людям и распорядиться им нечем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.